

Дружба народов

Шьер Логи

Госпожа Хризантема



Госпожа Хризантема стала женой Лоти — офицера французского флота. Лоти мучается вопросом, любит ли его жена, и как постичь загадочную душу японской женщины.

- [Пьер Лоти](#)

-

- [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)

- [I](#)

- [II](#)

- [III](#)

- [IV](#)

- [V](#)

- [VI](#)

- [VII](#)

- [IX](#)

- [X](#)

- [XI](#)

- [XII](#)

- [XIII](#)

- [XIV](#)

- [XV](#)

- [XVI](#)

- [XVII](#)

- [XVIII](#)

- [XIX](#)

- [XX](#)

- [XXI](#)

- [XXII](#)

- [XXIII](#)

- [XXIV](#)

- [XXV](#)

- [XXVI](#)

- [XXVII](#)

- [XXVIII](#)

- [XXIX](#)

- [XXX](#)

- [XXXI](#)

- [XXXII](#)

- [XXXIII](#)

- [XXXIV](#)

- [XXXV](#)

- [XXXVI](#)

- [XXXVII](#)

- [XXXVIII](#)

- [XXXIX](#)
- [XL](#)
- [XLI](#)
- [XLII](#)
- [XLIII](#)
- [XLIV](#)
- [XLV](#)
- [XLVI](#)
- [XLVII](#)
- [XLVIII](#)
- [XLIX](#)
- [L](#)
- [LI](#)
- [LII](#)
- [LIII](#)
- [LIV](#)
- [LV](#)
- [LVI](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)

- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)

- [76](#)
 - [77](#)
 - [78](#)
 - [79](#)
 - [80](#)
 - [81](#)
 - [82](#)
-
-

Пьер Лоти

Госпожа Хризантема

Посвящается герцогине де Ришелье

Герцогиня!

Соблаговолите принять эту книгу в знак почтительнейшего дружеского расположения.

Не без колебаний решился я посвятить ее вам, ибо фабула ее не вполне пристойна; но я приложил все усилия, чтобы изложение было безукоризненным, и, надеюсь, мне это удалось.

Это дневник одного лета из моей жизни, в котором я не изменил ничего, даже даты, ибо я нахожу, что, стоит упорядочить события, как весь порядок сразу же нарушается. Хотя на первый взгляд самая большая роль принадлежит госпоже Хризантеме, главные персонажи, вне всякого сомнения, это Я, Япония и Впечатление, произведенное на меня этой страной.

Помните одну фотографию, — признаться, довольно смешную, — где большой Ив, японка и я сфотографированы вместе, как было велено фотографом из Нагасаки? Вы улыбнулись, когда я принялся уверять вас, что столь тщательно причесанная миниатюрная особа, стоящая между нами, — это одна из моих соседок. Соблаговолите же принять мою книгу с той же снисходительной улыбкой, не ища в ней ни опасной, ни благотворной морали, — как приняли бы диковинную вазу, болванчика из слоновой кости, какую-нибудь несуразную безделушку, привезенную для вас из этой страны — родины всех несуразниц.

С глубоким почтением преданный вам

Пьер Лоти.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В море, около двух часов пополуночи, тихой ночью, под звездным небом.

Ив стоял на мостике возле меня, и мы болтали о совершенно новой для нас обеих стране, куда волею судеб занесло нас на этот раз. На следующий день мы должны были пристать к берегу; ожидание забавляло нас, и мы строили тысячи планов.

— Я, — говорил я, — как только приеду, намерен жениться...

— А-а! — протянул Ив, как всегда отстраненно, с видом человека, которого ничем не удивишь.

— Да... на маленькой женщине с желтой кожей, черными волосами и кошачьими глазами. Я выберу хорошенькую. Ростом она будет не выше куклы. У тебя в нашем доме будет своя комната. Все это будет происходить в бумажном домике, в тени деревьев, среди зеленых садов. Я хочу, чтобы вокруг все цвело; мы будем жить среди цветов, и каждое утро наше жилище будут украшать букетами, букетами, каких ты в жизни не видел.

Казалось, Ив даже заинтересовался подобными планами семейной жизни. Впрочем, он отнесся бы к моим словам с равным доверием, если бы я выразил намерение произнести временный обет у монахов этой страны или же жениться на какой-нибудь островной царице и укрыться вместе с ней в нефритовом^[1] дворце посреди заколдованного озера.

Однако изложенный мною план жизнеустройства и в самом деле созрел в моей голове. Боже ты мой, от скуки и одиночества я понемногу дошел до того, что вообразил такой брак и пожелал его. А главное, пожить немного на земле, в тенистом уголке, среди деревьев и цветов было так соблазнительно после долгих месяцев, потерянных на Пескадорах^[2] (а это знойные и зловещие острова, без зелени, без леса, без ручьев, источающие запах Китая и смерти).

Мы проделали немалый путь к северу, с тех пор как наш корабль покинул это китайское пекло, и созвездия на нашем небосклоне быстро сменили друг друга: Южный Крест исчез вместе с другими южными звездами, а Большая Медведица снова поднялась к зениту и была теперь почти так же высоко, как на небе Франции. Вдыхая посвежевший воздух этой ночи, мы чувствовали, что отдыхаем, наслаждались приливом бодрости — и вспоминали, как стояли некогда на вахте летними ночами у бретонских берегов...

А между тем как же далеко были мы от этих милых берегов, как ужасающе далеко!..

На рассвете мы увидели Японию.

Она показалась точно в назначенный час, пока еще очень далеко, в некоей точке морского простора, столько дней бывшего для нас пустынным пространством.

Сначала это была лишь вереница небольших розовых вершин (выступающий архипелаг Фукуэ^[3] в лучах восходящего солнца). Но за ним вдоль всей линии горизонта вскоре показалась какая-то тяжесть в воздухе, какая-то давящая пелена над водой: это и была настоящая Япония, и понемногу в бесформенном облаке стали вырисовываться четкие и определенные контуры гор Нагасаки.

Ветер был встречный, свежий и нарастал по мере нашего приближения, словно эта страна изо всех сил дула на нас, пытаясь отогнать от своих берегов. Море, снасти, корабль — все пришло в волнение, зашумело.

Около трех часов дня все, что мы видели издали, приблизилось, и приблизилось настолько, что нависло над нами скалистой массой и буйством зелени.

А потом мы вошли в своего рода тенистый коридор между двумя рядами очень высоких гор, как-то странно симметрично расположенных одна за другой, словно «стойки» объемных декораций, — необычайно красивых, но не вполне естественных. Как будто Япония раскрывалась перед нами колдовской трещиной, чтобы позволить проникнуть себе в самое сердце.

В конце этой длинной и странной бухты должен был быть Нагасаки, но пока его не было видно. Все вокруг было восхитительно зеленым. Сильный бриз,^[4] дувший в открытом море, внезапно стих, сменившись безветрием; ставший очень теплым воздух был наполнен ароматами цветов. И по всей долине разливалась удивительная музыка цикад; они перекликались с одного берега на другой; стрекотание бесчисленного множества насекомых отдавалось далеко в горах; вся страна словно вторила им несмолкаемым звоном дрожащего хрусталя. Мы проплывали совсем рядом со стайками больших джонок,^[5] подгоняемых неуловимым ветерком и тихонько скользивших по едва подернутой зыбью воде; плыли они бесшумно; их белые паруса, натянутые на горизонтальных ряях,^[6] ниспадали тысячью мягких складок, словно шторы; сложной конструкции корма возвышалась корабельной надстройкой, как на средневековых судах. Сочно-зеленые склоны гор оттеняли их снежную белизну.

Что за страна зелени и тени, эта Япония, что за неожиданный рай!..

Там снаружи, в открытом море, наверное, было еще светло; здесь же, в теснине гор, казалось, уже наступил вечер. Вершины были ярко освещены, но у подножия, в той наиболее заросшей части, что вплотную подступала к воде, царил вечерний полумрак. Проплывавшими мимо джонками, белыми-белыми на темном фоне листвы, бесшумно управляли маленькие желтые люди, обнаженные, с длинными, как у женщин, волосами, заплетенными в косы. И чем дальше углублялись мы в зеленый коридор, тем интенсивнее становились запахи, а монотонный треск цикад нарастал, как крещендо^[7] в оркестре. В вышине, в светящейся полосе неба между горами, парили кречеты местной породы и грудным человеческим голосом издавали свое «а-а-а»; доносившиеся с неба печальные крики подхватывало эхо.

Сама эта свежая, бьющая через край природа была по-японски необычна; что-то странное таилось в горных вершинах и в некоем, с позволения сказать, неправдоподобии того, что было чересчур красиво. Деревья собирались в рощицы с тем же изощренным изяществом, что и на лаковых подносах. Огромные скалы нарочито отвесно возникали рядом с мягкими формами холмов, поросших нежной травой: разрозненные элементы пейзажа сближались, как в искусственных ландшафтах.

...А приглядевшись, можно было заметить то там, то тут таинственную маленькую пагоду,^[8] как правило построенную без всякой опоры прямо над пропастью и наполовину скрытую зарослями цеплявшихся за склон деревьев, — и это в особенности давало чужестранцам вроде нас с первого взгляда ощутить какую-то отстраненность, рождало чувство, что духи этого края, лесные божества, древние символы, оберегающие сельский покой, неведомы и непостижимы...

Когда нашему взору открылся Нагасаки, мы были даже разочарованы: у подножия нависающих зеленых гор расположился вполне обыкновенный город. Перед нами — стоящие

как попало корабли, расцвеченные флагами всего мира, такие же суда, как и везде, черные клубы дыма, а на набережной — заводы; то есть все самое банальное и встречающееся где угодно.

Придет время, когда на земле станет очень скучно жить, ее сделают совсем одинаковой от края и до края, и нельзя будет даже попытаться себя немного развлечь, отправившись в путешествие.

Около шести мы с большим трудом встали на якорь в гуще других кораблей и тут же подверглись захвату.

Мы подверглись захвату меркантильной, услужливой, комической Японией, всей полнотой лодок, всей полнотой джонок нахлынувшей на нас, словно прилив: длинной, нескончаемой чередой потянулись мужчины и женщины, без криков, без споров, без шума, и каждый кланялся и улыбался так приветливо, что сердиться было невозможно, и в результате мы сами стали улыбаться и кланяться.

Все они несли на спине корзиночки, ящички, сосудики всевозможной формы, задуманные самым хитроумным образом, чтобы помещаться один в другом, складываться друг в друга, а потом разрастаться и множиться, до бесконечности загромождая собой все пространство; оттуда возникали неожиданные, невообразимые вещи: ширмы, туфли, мыло, фонари; запонки, живые цикады, поющие в маленьких клеточках; бижутерия^[9] и ручные белые мышки, умеющие раскручивать маленькие картонные мельницы; непотребные фотографии, порции горячего супа и рагу в мисках, готовые для раздачи экипажу; и фарфор, мириады ваз, чайников, чашек, горшочков и тарелок... В мгновение ока все это оказывается распакованным и разложенным на полу с потрясающей ловкостью и своеобразным вкусом к порядку; а позади каждой безделушки — торговец, сидящий на корточках, по-обезьяньи, руками касаясь ног, — и всегда с улыбкой на лице, и всегда складывающийся пополам в самых грациозных поклонах. И палуба корабля под грудой этих разноцветных вещей внезапно становится похожей на огромный базар. А матросы, радостные, развеселившиеся, спотыкаются об эти кучи, берут маленьких продавщиц за подбородок, покупают всякую всячину и, не задумываясь, тратят свои серебряные пиастры...

Но, Боже, до чего же безобразны, мелочны, гротескны все эти люди! Если учесть мои матримониальные планы, было от чего впасть в глубокую задумчивость и ощутить глубокое разочарование...

До завтрашнего утра было наше с Ивом дежурство, и когда кончилась суэта, всегда возникающая на борту сразу после постановки на якорь (спуск на воду шлюпок; выброс штормтрапов^[10] и...), нам оставалось только смотреть. И мы спрашивали себя: где же мы все-таки находимся? В Америке? В какой-нибудь английской колонии Австралии? Или в Новой Зеландии?..

Консульства, таможни, мануфактуры; док, где воцарился русский фрегат; ^[11] целая европейская концессия, ^[12] с виллами на высоком берегу и американскими барами для матросов на набережной. Правда, там, подалее, за всеми этими приевшимися постройками, в глубине бескрайней зеленой долины, виднеются тысячи и тысячи темненьких домиков, сбившихся в немного странную кучу, из которой кое-где выступают крыши повыше, выкрашенные в темно-красный цвет: может, настоящий старый японский Нагасаки существует и поныне... И как знать, может, в этих кварталах, за какой-нибудь бумажной ширмой жеманно прихорашивается маленькая женщина с кошачьими глазами, на которой, вполне возможно, дня через два-три (ведь мне нельзя терять время) я женюсь!.. Правда, я уже не очень ясно представляю эту маленькую особу; ее образ испортили торговки белыми мышами, пришедшие на корабль; и теперь я боюсь, как бы она не оказалась похожей на них...

Когда стало темнеть, палуба нашего корабля опустела, словно по волшебству; в мгновение ока запаковав свои коробки, сложив раздвижные ширмы и складные веера, смиренно поклонившись каждому из нас, маленькие человечки удалились.

По мере того как ночная мгла подступала все ближе и очертания предметов стирались в синеватом сумраке, Япония вокруг нас мало-помалу снова превращалась в волшебную, феерическую страну. Высокие горы, ставшие теперь совсем черными, раздваивались у основания, и их опрокинутые контуры отражались в неподвижной воде под нами, так что казалось, будто мы повисли над ужасающей бездной; а звезды, тоже опрокинутые, напоминали фосфоресцирующие крапинки, усеявшие дно воображаемой пропасти.

А потом весь Нагасаки озарился массой света, превратился в бескрайнее море огней; освещалось малейшее предместье, малейшая деревушка; ничтожнейшая хижина, примостившаяся где-то наверху среди деревьев, которую днем и видно-то не было, зажигала свой маленький, как у светлячка, фонарик. Вскоре свет был повсюду; со всех сторон бухты, с низу до верху горных склонов во тьме сверкали мириады огней, так что казалось, вокруг нас головокружительным амфитеатром громоздилась огромная столица. А внизу, благо вода была спокойной, такой же освещенный город спускался в морскую бездну. Ночь была теплая, ясная, восхитительная; воздух был напоен ароматом цветов, долетавшим с гор. Звуки гитары, доносившиеся из «чайных» или из зланных мест, издали казались упоительной музыкой. А стрекот цикад — а это в Японии один из вечных звуков жизни, на который через несколько дней мы перестанем обращать внимание, ибо он здесь воспринимается как фон для всех земных звуков, — был звонким, непрерывным, ласково-монотонным, словно шум хрустального водопада...

На следующий день дождь стоял стеной; один из тех нескончаемых, беспощадных, ослепляющих, затопляющих все вокруг ливней; лило сплошным потоком, так что не было видно противоположного конца корабля. Казалось, тучи со всего мира собрались в бухте Нагасаки, условились о встрече в этой огромной воронке из зелени, чтобы там излиться в свое удовольствие. И лило, лило; было почти совсем темно, настолько частым был дождь. Сквозь пелену измельченной воды еще можно было различить подножие гор, но вершины терялись в нависших над нами мрачных, непроницаемых облачных массах. Туманные клочья, словно оторвавшиеся от сумрачного небосвода, застряли наверху, в зарослях деревьев, и таяли, таяли, превращаясь в воду, в сплошные потоки воды. А еще дул ветер; из ущелий доносились его глухие завывания. И вся поверхность воды, изрытая дождем, истерзанная со всех сторон возникающими водоворотами, вздымалась, стонала, металась в величайшем смятении.

Довольно гнусная погода, чтобы впервые ступить на новую землю... И как отыскать себе супругу посреди потопа в незнакомой стране?..

...Ладно, тем хуже! Я привожу себя в порядок и говорю Иву, который улыбается, видя, что я все-таки намерен прогуляться:

— Пожалуйста, брат, подгони мне сампан.^[13]

И Ив, махнув рукой куда-то в ветер и дождь, подзывает нечто вроде небольшого саркофага из светлого дерева, который все это время подпрыгивал на воде неподалеку от нас и которым при помощи кормового весла управляют двое желтых мальчишек, скинувших под дождем всю свою одежду. Эта штука подплывает поближе; я устремляюсь в нее; затем, через открытый для меня одним из гребцов маленький люк, по форме напоминающий крысоловку, проскальзываю вниз и во весь рост растягиваюсь на циновке — в том, что называется «каютой» сампана.

Лежа я едва помещаюсь в этом плавучем гробу — сверкающем, впрочем, чистотой и белизной свежей сосны. Я хорошо защищен от дождя, барабанищего по крышке, и плыву в направлении города, лежа на животе в этом ящике; одна волна меня баюкает, другая нещадно встряхивает, а то и почти переворачивает — а неплотно закрытая крысоловка позволяет снизу вверх смотреть на двух маленьких человечков, которым я доверил свою судьбу: им лет восемь — десять, не больше, и мордашки у них как у обезьянок уистити,^[14] зато мускулы — как у настоящих миниатюрных мужчин, и сноровка — как у старых морских волков.

Вдруг они начинают громко кричать: наверное, причаливаем! И действительно, открыв пошире люк, я вижу совсем рядом серые каменные плиты набережной. Тогда я вылезаю из своего саркофага и намереваюсь впервые в жизни ступить на японскую землю. Льет все сильнее и сильнее, дождь лупит по глазам больно, невыносимо.

Стоит мне только ступить на сушу, как на меня с криками бросаются, окружают, не дают проходу с десятков странных существ, которых трудно описать, особенно если видишь их впервые в слепящем дождевом потоке, — похожи на человекообразных ежей, и каждый тащит за собой что-то большое и черное. Один из них раскрывает над моей головой огромный зонт с очень близко расположенными спицами и нарисованными на просвет аистами — и вот уже все улыбаются мне, заискивающе, выжидающе.

Меня предупреждали: это просто дзины, борющиеся за честь быть избранными мною; и все же я поражен этой внезапной атакой, этим приемом, оказанным Японией человеку, впервые ступившему на ее землю. (Дзины^[15] или дзин-рикши — это люди-скороходы, таскающие за собой небольшие повозки и за деньги перевозящие частных лиц; их нанимают по часам или по

расстоянию, как у нас фиакры.)

Ноги у них голые до самого верха, и сегодня очень мокрые, а голова скрыта под большой шляпой в форме абажура. Одеты они в непромокаемые соломенные плащи, причем все концы соломы торчат наружу и топорщатся, как иголки у дикобраза; кажется, будто на них надета соломенная крыша. Они так все и улыбаются в ожидании моего решения.

Не имея чести знать никого из них, я, недолго думая, выбираю дзина с зонтиком и залезаю в его маленький экипаж, а он поднимает надо мной низкий-низкий верх. Ноги мне он укрывает клеенчатым фартуком, натягивает его до самых глаз, а потом идет вперед и говорит по-японски что-то, означающее примерно следующее: «Куда вас везти, хозяин?» На что я на том же языке отвечаю: «В Цветочный Сад, дружнице!»

Я ответил фразой из трех слов, которую выучил наизусть, как попугай, и был удивлен, что она имеет какой-то смысл, что меня поняли, — и мы отправились в путь, он — бегом, что было мочи, а я — за ним, подпрыгивая в его легкой тележке, завернутый в клеенку, словно упакованный в коробку, — и оба мы под проливным дождем, обдавая все вокруг фонтанами воды и жидкой грязи.

«В Цветочный Сад», — сказал я, словно завсегдатай, и сам удивился, услышав это. Ведь на самом деле в японских делах я не такой простак, как может показаться. Друзья, посетившие эту империю, кое-чему меня научили, и я много знаю: Цветочный Сад — это чайная, эlegantное место свиданий. Придя туда, я спрошу некоего Кенгуру-сан, являющегося одновременно переводчиком, прачкой и тайным агентом по скрещиванию рас. И если дела пойдут хорошо, может, нынче же вечером я буду представлен девушке, предназначенной мне непостижимой судьбой... Мысль об этом не дает мне покоя, пока мы с дзином мчимся сломя голову — вернее, он меня мчит сломя голову под беспощадным дождем...

Ну и своеобразную же Японию увидел я в тот день сквозь щелочку в клеенке из-под заливаемого дождем верха моего маленького экипажа! Японию унылую, грязную, полузатопленную. Дома, животные, люди — все, что до сих пор я знал только по картинкам, все, что я видел изображенным на нежно-голубом или нежно-розовом фоне на ширмах и фарфоровых вазах, в действительности предстало передо мной жалким зрелищем под низким небом — сплошные зонтики, деревянные башмаки и задранные подолы.

Порой ливень хлещет так сильно, что я закрываюсь наглухо и цепенею в шуме и тряске, совершенно забыв, в какой стране я нахожусь. Верх у моего экипажа дырявый, и мне за шиворот стекают ручейки. Но потом, вспомнив, что я еду по самому Нагасаки, да к тому же впервые в жизни, я с любопытством высовываюсь наружу, рискуя быть облитым: мы пробегаем рысцей по какой-то унылой, черненькой улочке (их здесь таких тысячи, целый лабиринт); с крыш на блестящие мостовые низвергаются водопады; серая штриховка дождя не позволяет четко различать предметы. Иногда нам попадается дама, путающаяся в складках платья, нетвердо ступающая в своих высоких деревянных башмаках — персонаж с ширмы, — с задранном подолом и под размалеванным бумажным зонтиком. Или же мы проезжаем мимо пагоды, и тогда какое-нибудь старое гранитное чудовище, сидящее наполовину в воде, встречает меня кровожадным оскалом.

Ну и большой же город этот Нагасаки! Вот уже целый час несемся мы во весь опор, а до конца, похоже, еще далеко. И потом, он расположен на равнине; с рейда никак нельзя было предположить, что в глубине гор может поместиться такая большая равнина.

По правде сказать, я ни за что не смог бы определить, в каком направлении мы ехали; пришлось положиться на волю моего дзина и случая.

А дзин мой — это просто паровой двигатель! Я привык к китайским рикшам, но здесь все совсем по-другому. Когда я раздвигаю клеенку, чтобы что-то рассмотреть, на первом плане я,

разумеется, всегда вижу его; две голые, бурые, мускулистые ноги, обгоняющие одна другую и обдающие брызгами все вокруг, и спину, как у ежика, склоненную под струями дождя. Интересно, подозревают ли прохожие, что в этой обильно поливаемой водой тележке притаился жених, отправившийся на поиски будущей супруги?..

Наконец экипаж мой останавливается, и дзин, улыбаясь, осторожно, чтобы не вылить мне за шиворот еще один поток воды, опускает верх экипажа; потоп на время прекратился, дождя больше нет. До сих пор я не видел лица моего дзина; как ни странно, оно весьма миловидно; молодой мужчина лет тридцати, энергичный, крепкий, с открытым взглядом... И кто бы мог подумать, что спустя несколько дней этот самый дзин... Но нет, пока я помолчу, чтобы преждевременно и несправедливо не бросить тень на Хризантему...

Итак, мы остановились. Остановились у самого подножия небольшой нависающей горы; вероятно, мы проехали через весь город и оказались в предместье, за городом. Теперь, похоже, надо встать на ноги и вскарабкаться по узкой, почти отвесной тропинке. Вокруг нас — загородные домики, садовые ограды, очень высокие бамбуковые частоколы, за которыми ничего не видно. Зеленая гора подавляет своей высотой, а низкие, тяжелые, мрачные тучи висят у нас над головой, словно плотно прилегающая крышка, которая вот-вот окончательно закупорит нас в этой Богом забытой дыре; и создается впечатление, что такое отсутствие дали, перспективы позволяет лучше разглядеть во всех подробностях маленький, тесный, грязный и мокрый клочок японской земли, находящийся у нас перед глазами. Земля в этой стране очень красная. Придорожная трава и цветочки мне незнакомы; правда, по ограде ползет такой же вьюнок, как у нас, а в садах я узнаю маргаритки, циннии и другие цветы Франции. Воздух напоен сложным ароматом; к запахам растений и земли примешивается что-то еще, идущее, видимо, от человеческого жилья, — похоже на смесь сушеной рыбы и ладана. Прохожих нет; население, внутреннее убранство, жизнь ничем себя не выдают, и я могу с тем же успехом представить себя где угодно.

Мой дзин пристроил под деревом свой маленький экипаж, и мы вместе поднимаемся по крутой дорожке, скользя по красной глине.

— Мы действительно идем в Цветочный Сад? — спрашиваю я, волнуясь, правильно ли меня поняли.

— Да, да, — отвечает дзин, — это там, наверху, совсем рядом.

Дорожка поворачивает, становится тесной и мрачной. По одну сторону отвесная гора, поросшая мокрыми папоротниками, по другую — большой деревянный дом, почти без окон, неприглядный на вид: здесь-то мой дзин и останавливается.

Как, этот зловещий дом и есть Цветочный Сад? Он отвечает утвердительно, вполне уверенный в своей правоте. Мы стучимся, и массивная дверь сразу же подается и отворяется. Появляются две маленькие тетушки, чудаковатые, почти старушки, с детскими ручками и ножками, но, сразу видно, сохранившие все свои претензии, — одетые безупречно, как на японских вазах.

Едва завидев меня, они падают на четвереньки и утыкаются носом в пол. Боже, что это с ними? Да ничего, просто так здороваются в очень торжественных случаях; я тогда еще к этому не привык. Но вот они уже поднялись с пола и спешат снять с меня ботинки (в японский дом никогда не входят в обуви), обтереть низ моих брюк и потрогать, не промокли ли у меня плечи.

Первое, что поражает в японском жилище, — это скрупулезная чистота и белая, ледяная пустота.

По безукоризненным, без единой складочки, без единого рисунка, без единого пятнышка циновкам меня ведут на второй этаж в большую комнату, где ничего, совсем ничего нет. Бумажные стены состоят из раздвижных панелей, которые входят одна в другую и при

необходимости могут вообще исчезнуть, а значительная часть апартаментов верандой открывается на зеленые склоны и серое небо. В качестве сиденья мне приносят черный бархатный квадратик, и я усаживаюсь на пол посреди этой пустой и, я бы сказал, холодной комнаты, а две тетушки (прислуга этого заведения и мои покорнейшие служанки) ждут моих приказаний, позой своей выражая глубокую покорность.

Просто невероятно, как могут что-то означать эти фразы, выученные мною там, на Пескадорах, во время нашего изгнания, при помощи лексики и грамматики, но без всякой уверенности. Но оказалось, могут: меня сразу же понимают.

Прежде всего я хочу поговорить с этим самым господином Кенгуру, который и переводчик, и прачка, и тайный агент по торжественным бракосочетаниям. Замечательно; его знают и сей же час приведут ко мне, в связи с чем старшая из служанок уже готовит свои деревянные башмаки и бумажный зонтик.

Затем я хочу, чтобы мне подали хорошо приготовленный завтрак, состоящий из изысканных японских кушаний. И того лучше — бегут на кухню делать заказ.

И наконец, я хочу, чтобы моему дзину, ждущему меня внизу, отнесли чаю и рису; я хочу, я много чего хочу, сударыни куклы, и я со временем скажу вам об этом, спокойно, не торопясь, когда подберу слова... Но чем больше я смотрю на вас, тем больше меня волнует, какой окажется моя завтрашняя невеста. Вы, конечно, почти милашки, не спорю, с этой вашей чудаковатостью, нежными ручками и миниатюрными ножками; но все-таки вы безобразные, и потом, до смешного маленькие, как фарфоровые статуэтки, как обезьянки уистити, как не знаю что...

Я начинаю понимать, что пришел в этот дом не вовремя. Здесь происходит что-то, что меня не касается, и я мешаю.

Я мог бы догадаться об этом с самого начала, несмотря на чрезмерную учтивость приема, ибо теперь я вспоминаю, что, пока меня разували, я слышал над своей головой шушуканье, а потом звук быстро передвигаемых панелей; очевидно, нужно было скрыть от меня что-то, что мне не следовало видеть; апартаменты, где меня поместили, были подготовлены экспромтом — так в зверинцах во время представления некоторым животным полагается отдельный отсек.

Теперь, пока исполняются мои приказания, меня оставили одного, и я прислушиваюсь, сидя, как Будда, на своей черной бархатной подушечке, посреди белизны циновки и стен.

За бумажной перегородкой тихо переговариваются усталые и, похоже, многочисленные голоса. Потом слышатся гитара и женское пение, жалобно и даже нежно звучащие в этом пустом доме среди уныния дождливого дня.

Вид, открывающийся с распахнутой веранды, признаться, очень красив — напоминает сказочный пейзаж. Восхитительно лесистые горы высоко поднимаются ко все еще мрачному небу и прячут в нем острия своих вершин, а где-то там, в облаках, примостился храм. Воздух совершенно прозрачен, а дали ясны и четки, как бывает после сильных дождей; но надо всем еще довлеет тяжелый купол непролившейся влаги, и кажется, словно большие клочья серой ваты неподвижно застыли на кронах повисших в воздухе деревьев. На первом плане, ближе и ниже всего этого почти фантастического пейзажа, расположен миниатюрный сад, где гуляют и резвятся две великолепные белые кошки, бегая друг за другом по аллеям лилипутского лабиринта и то и дело стряхивая с лап переполняющую песок воду. Сад до невозможности вычурный: ни одного цветка, только маленькие скалы, маленькие озерца, странно подстриженные карликовые деревья; все это неестественно, но так хитроумно скомпоновано, так зелено, и мох такой свежий!..

Там, в раскинувшейся подо мной мокрой долине, до самой глубины гигантской декорации, царит полная тишина, абсолютный покой. Но за бумажной стеной все еще поет женский голос,

исполненный необычайно нежной грусти; аккомпанирующая ему гитара издает низкие, немного мрачные звуки...

Надо же... темп ускоряется — можно даже подумать, что там танцуют!

Ладно! Попытаюсь подглядеть между легкими планками панелей, вон в ту щелочку.

О! Зрелище необычайное: похоже, молодые щеголи Нагасаки устроили подпольное празднество! Их там около дюжины, они сидят на полу кружком в такой же голой комнате, как у меня; длинные хлопчатобумажные голубые робы с расширяющимися книзу рукавами, длинные сальные прямые волосы, а на них европейские шляпы — котелки; лица глуповатые, желтые, изможденные, будто выцветшие. На полу — множество маленьких жаровен, трубочек, лаковых подносиков, чайничков, чашечек — все атрибуты и все остатки японской оргии, напоминающей кукольный ужин. А в середине круга, образованного этими денди, — три разряженные женщины, похожие на какие-то странные видения: платья бледных, не имеющих названия оттенков, расшитые золотыми химерами;^[16] высокие прически, уложенные с невиданным мастерством, утыканые шпильками и цветами. Две женщины сидят ко мне спиной: одна держит гитару, другая поет тем самым нежным голосом; их позы, одеяния, волосы, затылки — все изысканно, если украдкой смотреть на них сзади, и я дрожу, как бы случайное движение не открыло мне их лицо, ведь оно меня наверняка разочарует. Третья танцует перед этим ареопагом идиотов, перед этими котелками и прилизанными волосами... Но — о ужас! — вот она оборачивается! На ее лице жуткая, искаженная, бледная маска призрака или вампира... Маска отделяется и падает... Передо мной прелестная маленькая фея лет двенадцати — пятнадцати, стройная, уже кокетливая, уже женщина, одетая в длинное платье из темно-синего матового крепона^[17] с вышитыми на нем серыми, черными и золотыми летучими мышами...

На лестнице — шаги, легкие шаги босых женских ног, едва касающихся белых циновок... Видимо, мне несут первое блюдо моего завтрака. И я мгновенно снова застываю на своей бархатной подушке.

На сей раз служанок уже трое, они идут гуськом, с улыбками и поклонами. Одна несет мне жаровню и чайник, другая — засахаренные фрукты в прелестных тарелочках, третья — что-то не поддающееся определению на изысканных крошечных подносиках. Все трое падают передо мною ниц и расставляют у моих ног этот игрушечный завтрак.

Япония в этот момент представляется мне прелестной страной; я чувствую, что полностью вошел в этот воображаемый, искусственный мирок, уже знакомый мне по лаковым миниатюрам и фарфору. Ведь все это настолько оттуда! Эти три маленькие сидящие женские фигурки, изящные, манерные, с раскосыми глазами и великолепными яйцеобразными узлами волос, большими, гладкими, словно лакированными; и этот сервированный на полу завтрак; и вид, открывающийся с веранды, и эта пагода, примостившаяся в облаках; и это жеманство во всем, даже в вещах. И этот печальный женский голос, все еще звучащий за бумажной перегородкой, — тоже оттуда; разумеется, именно так и должны петь музыкантши с полуприкрытыми узкими глазками, которых я видел когда-то нарисованными странными красками на рисовой бумаге в окружении непомерно больших цветов. Я угадал, какая она, эта Япония, задолго до того, как приехал сюда. Вот только в действительности она предстала передо мной какой-то уменьшенной, еще более слащавой и еще более печальной — наверное, из-за хмурого облачного савана, из-за этого ливня...

В ожидании господина Кенгуру (который, похоже, одевается и скоро придет) примемся за завтрак.

В премиленькой чашечке, разрисованной летящими аистами, — невероятный суп с водорослями. А помимо этого — сушеные рыбки с сахаром, крабы с сахаром, фасоль с сахаром

и фрукты с уксусом и перцем. Все это отвратительно, но, главное, непредсказуемо, невообразимо. А маленькие женщины учат меня есть, то и дело смеясь этим вечным, действующим на нервы японским смехом, — есть, как они, изящно и ловко перебирая симпатичными палочками. Я привыкаю к их физиономиям. Все это вместе изысканно — изысканность, конечно, совсем не такая, как у нас, и вряд ли я могу разобраться в ней с первого взгляда, но в конце концов она, может быть, мне понравится...

Вдруг в комнату, подобно ночной бабочке, разбуженной среди дня, подобно редкой и удивительной пяденице,^[18] влетает та самая танцовщица, та девочка, что носила зловещую маску. Наверное, чтобы посмотреть на меня.

Она вращает глазами, как пугливая кошка; потом, внезапно став ручной, подходит и прижимается ко мне, с милой неестественностью изображая ласкающееся дитя. Она славная, тоненькая, элегантная; хорошо пахнет. Лицо странно разрисовано — белое как мел, с очень правильными розовыми кружочками посреди каждой щеки; карминный рот и легкая золотая полоска, подчеркивающая линию нижней губы. Поскольку затылок набелить не удалось из-за густых строптивых волос, то, из любви к правильности, побелку завершили прямой, словно отрезанной ножом линией; в результате сзади на шее образовался квадратик естественной, очень желтой кожи...

Властные аккорды гитары за перегородкой — видимо, зовут! Хлоп — и маленькая фея убегает, спеша вернуться к идиотам из соседней комнаты.

А не жениться ли мне на ней, к чему далеко ходить? Я буду беречь ее, как вверенное мне дитя; я приму ее такой, какая есть, странной и очаровательной игрушкой. Ну и забавная будет у меня семейная жизнь! В самом деле, если уж жениться на безделушке, вряд ли я найду лучше...

Но вот появляется господин Кенгуру. Костюм из серого сукна, словно купленный в одном из парижских магазинов, котелок, белые шелковые перчатки. Лицо одновременно хитрое и глуповатое; почти совсем нет носа, почти совсем нет глаз. Чисто японский поклон: внезапный бросок вперед, ладони прижаты к коленям, туловище образует прямой угол с ногами, словно человек переломился; легкий свист, как у пресмыкающихся (издается путем втягивания слюны между зубами — верх подобострастной любезности в этой империи).

— Вы говорите по-французски, господин Кенгуру?

— Да, мисье!

И снова поклон.

Он кланяется после каждого моего слова, будто заводная кукла; когда он садится на пол напротив меня, кивает только голова — что неизменно сопровождается все тем же звуком втягиваемой слюны.

— Чашечку чая, господин Кенгуру?

Снова поклон и очень изощренный жест руками, словно говорящий: «Я едва ли осмелюсь; вы так снисходительны ко мне... Разве только чтобы угодить вам...»

С первых же слов он догадался, чего я от него жду.

— Мы, конечно, этим займемся, — отвечает он. — Через неделю как раз приезжает семья Симоносаки, где две очаровательные дочери...

— Как это через неделю? Вы плохо меня знаете, господин Кенгуру! Нет, нет, — завтра или никогда!

Еще один поклон с присвистом, и Кенгуру-сан, смирившись при виде моего возбуждения, начинает лихорадочно перебирать всех не занятых в данный момент молодых особ Нагасаки:

— Так, посмотрим, — была тут мадемуазель Гвоздика... Ах, какая жалость, что я не обратился к ним на два дня раньше! Она такая красивая, так хорошо играет на гитаре... Непоправимая беда: позавчера ее забрал один русский офицер...

Ах! Мадемуазель Абрикос! (Подойдет ли мне мадемуазель Абрикос?) Она дочь богатого торговца фарфором с базара Десима; очень достойная особа, но стоит будет очень дорого: родители ценят ее очень высоко и не уступят меньше чем за сто иен ^[19] в месяц. Она очень образованна, свободно владеет коммерческим письмом и легко справляется с написанием более двух тысяч иероглифов ученого письма. На конкурсе поэзии она заняла первое место со стихотворением, воспевающим белые цветочки живой изгороди в капельках утренней росы. Только вот она не очень хороша собой; один глаз у нее меньше другого, а на щеке осталась дырка от какой-то болезни, перенесенной в детстве...

— О нет! Тогда, ради Бога, только не она. Поищем среди молодых особ менее выдающихся, но без шрама. А эти там, рядом, в прекрасных, расшитых золотом платьях? Например, танцовщица с маской призрака, а господин Кенгуру? Или та, у которой такой нежный голос и такой милый затылок?

Сначала он никак не может понять, о ком идет речь; потом понимает и отвечает, почти насмешливо покачивая головой:

— Нет, мисье, нет! Это же гейши, ^[20] мисье, гейши!

— Ну, а почему нельзя гейшу? Мне-то что с того, что они гейши? — Позже, когда я начну лучше разбираться в тонкостях японской жизни, я, может быть, осознаю, что просил невозможного: в самом деле, я словно изъявил желание жениться на дьяволе...

Но вот господин Кенгуру вдруг вспоминает о некой мадемуазель Жасмин. Боже, как же он сразу о ней не подумал; это же как раз то, что надо; он завтра же, сегодня же вечером отправится делать предложение родителям этой молодой особы, которая живет очень далеко отсюда, на холме напротив в предместье Дью-дзен-дзи. Это очень милостивая девушка лет четырнадцати. Ее, наверное, можно будет заполучить за восемнадцать — двадцать пиастров в месяц, если подарить ей несколько элегантных платьев и поселить ее в уютном и хорошо расположенном доме — что такой галантный мужчина, как я, конечно же не преминет сделать.

Мадемуазель Жасмин так мадемуазель Жасмин — на этом и распрощаемся, время уже позднее. Завтра господин Кенгуру придет ко мне на корабль сообщить о результатах первых предпринятых шагов и договориться о встрече. От вознаграждения он пока отказывается, но я дам ему постирать свое белье и обеспечу клиентуру среди моих товарищей по «Победоносной».

Договорились.

Глубокие поклоны — и меня обувают у дверей.

Мой дзин, пользуясь случаем, что под рукой оказался переводчик, предлагает мне свои услуги на будущее: стоит он прямо на набережной; его номер — 415 — написан арабскими цифрами на фонаре экипажа (у нас на борту есть 415-й номер — Гоелек, из моего оружейного расчета, так что я запомню); он берет двенадцать су за один рейс, а для постоянных клиентов десять в час. Замечательно, буду непременно обращаться к нему.

— Ну, пошли.

Служанки, вышедшие меня проводить, падают на четвереньки, дабы завершить прощание, и так и остаются распростертыми на пороге, пока я не скрываюсь из виду на темной тропинке, где папоротники стряхивают мне на голову последние капли...

Прошло три дня. И вот в наступающих сумерках мы с Ивом ждем в апартаментах, вчера ставших моими. Мы ходим на втором этаже по белым циновкам, меряя шагами большую пустую комнату, а сухие и легкие половицы скрипят у нас под ногами. Оба мы слегка раздражены затянувшимся ожиданием. Ив, более активно проявляющий свое нетерпение, время от времени выглядывает на улицу. А у меня вдруг холодеет сердце при мысли, что я сделал свой выбор и буду жить в этом доме, затерявшемся в предместье совершенно чужого города, примостившемся высоко в горах, почти на опушке леса.

С чего мне вздумалось окунуться в неведомое, отдающее одиночеством и печалью?.. Ожидание действует мне на нервы, и я занимаю себя разглядыванием жилища во всех деталях. Деревянная обшивка потолка сложна и замысловата. Обтянутые белой бумагой панели, образующие стены, испещрены микроскопическими черепашками, нарисованными пером...

— Они опаздывают, — говорит Ив, снова поглядев в окно.

Опаздывают, да еще как, на целый час. Темнеет, и катер, который должен отвезти нас на борт к ужину, скоро уйдет. Придется сегодня ужинать по-японски, бог знает где. Люди в этой стране не имеют ни малейшего представления о часах и о ценности времени.

И я продолжаю изучение микроскопических странностей моего дома. Надо же! Вместо ручек, которые прикрепили бы мы, чтобы братья за передвижные панели, они проделали овальные отверстия, куда, очевидно, следует совать большой палец. И эти дырочки обшиты бронзой — а если приглядеться поближе, бронза эта причудливым образом обработана: здесь дама, обмахивающаяся веером; там, в соседнем отверстии, — ветка цветущей вишни. Что за странный вкус у этого народа! Корпеть над миниатюрным изображением и засунуть его в глубь отверстия для большого пальца, которое выглядит просто темным пятном посреди большой белой панели; вложить столько кропотливого труда в неприметные детали обстановки, чтобы в результате целое сводилось к нулю, производило впечатление полнейшей пустоты...

Ив снова выглядывает, как сестра Анна. С той стороны, где он высовывается, моя веранда выходит на улицу или, скорее, на дорогу, застроенную домами, которая поднимается все выше и выше и почти сразу теряется в горной зелени, в чайных полях, колючих кустарниках и кладбищах. Ожидание меня уже по-настоящему злит, и я смотрю в противоположную сторону; перед другим фасадом моего дома, также окаймленным верандой, сначала располагается сад, а потом открывается дивная панорама лесов и гор, внизу же, в двухстах метрах от меня, подобно черному муравейнику, теснится старый японский Нагасаки. Сегодня, в тусклые, хотя и июльские сумерки, все это выглядит грустным. Тяжелые тучи налиты дождем; воздух насыщен влагой. Нет, я совершенно не ощущаю себя дома в этом жилище; я испытываю чувство крайней потерянности и одиночества; при одной только мысли о том, что здесь придется переночевать, у меня сжимается сердце.

— А-а! Наконец-то, брат, — говорит Ив. — Кажется... мне кажется, это она!

Я выглядываю из-за его плеча и вижу со спины маленькую куколку в наряде, которому придают последний лоск посреди пустой улицы: еще один материнский взгляд на огромный бант на поясе, на складки у талии. На ней жемчужное шелковое платье и светло-сиреневый атласный оби; ^[21] в черных волосах дрожит букетик из серебряных цветов; ее освещает последний меланхолический луч заката; с ней пять или шесть человек... Да, конечно, это она, мадемуазель Жасмин... Ко мне ведут мою невесту!..

Я устремляюсь на первый этаж, где живет престарелая госпожа Слива, моя хозяйка, вместе

со своим престарелым мужем; они молятся перед алтарем предков.

— Вон они, госпожа Слива, — говорю я по-японски, — вон они! Быстро чай, жаровню, угли, трубочки для дам, бамбуковые горшочки, чтобы сплевывать слюну! Несите поскорее наверх все это!

Заслышав, как открывается входная дверь, я сам поднимаюсь наверх. Деревянные башмаки остаются на полу; лестница скрипит под шагами босых ног... Мы с Ивом переглядываемся, нам хочется рассмеяться...

Входит пожилая дама, две пожилые дамы, три пожилые дамы, и одна за другой отвешивают пружинящие поклоны, на которые мы худо-бедно отвечаем, осознавая, насколько же мы уступаем им в этом искусстве. Потом идут особы средних лет, потом совсем молоденькие, по меньшей мере дюжина, — подружки, соседки, весь квартал. И все эти люди, войдя ко мне, рассыпаются во взаимных изъявлениях вежливости: я тебе кланяюсь — и ты мне кланяешься — я снова тебе кланяюсь — и ты отвечаешь мне тем же — а я кланяюсь тебе еще раз — а я никогда не смогу воздать тебе соответственно твоим заслугам — а я бьюсь головой об землю — а ты тыкаешься носом в пол; и вот все они стоят на четвереньках друг против друга; кто после кого пройдет, кто после кого сядет — и все тихо бормочут нескончаемые комплименты, уткнувшись лицом в паркет.

Потом они все-таки рассаживаются церемонным кружком, улыбаясь все одновременно, а мы вдвоем остаемся стоять, уставившись на лестницу. И вот наконец возникает крошечный букетик из серебристых цветов, черный как смоль пучок волос, жемчужно-серое платье и светло-сиреневый пояс — мадемуазель Жасмин, моя невеста!

Но, Боже мой! Я же давно ее знаю! Задолго до того, как попасть в Японию, я видел ее изображения на всех веерах, на дне любой чайной чашки — с этим ее глупеньким видом, пухленьким личиком и глазками, пробуравленными над пустынными пространствами, бело-розовыми до невозможности, именуемыми ее щеками.

Она молода — это единственное, что я не могу не признать за ней; настолько молода, что мне было бы совестно взять ее к себе. Смеяться мне уже совсем не хочется, и я чувствую, как холодок забирается глубже в сердце. Разделить хоть один час моей жизни с таким созданием — ни за что!

Она с улыбкой идет вперед с видом сдерживаемого торжества, а за ней появляется господин Кенгуру в своем костюме из серого сукна. Снова поклоны. Вот и она уже падает на четвереньки перед моей хозяйкой, перед моими соседками. Ив, большой Ив, который не женится, корчит за моей спиной пресмешную мину, поджимает губы, с трудом сдерживая смех, а я, чтобы выиграть время и собраться с мыслями, раздаю чай, чашечки, горшочки, угли...

Однако мой разочарованный вид не ускользнул от внимания посетительниц. Господин Кенгуру тревожно спрашивает, как она мне нравится.

— Нет, эту я не хочу... Ни за что!

Мне кажется, в кружке меня почти поняли. На лицах отразилось замешательство, пучки вытянулись, трубки погасли. И вот я уже делаю выговор Кенгуру:

— Ну зачем было приводить ее так торжественно, с подружками, соседями, соседками, почему не подстроить случайную встречу, не показать мне ее украдкой, как я и хотел? А теперь ведь это такое оскорбление для столь любезных особ!

Престарелые дамы (наверное, мама и тетушки) прислушиваются, и господин Кенгуру, смягчая, переводит мои удручающие речи. Мне почти жаль этих женщин. Ведь, по сути, они пришли продавать свою дочь и при этом выглядят несколько неожиданно для меня; я не решаюсь сказать честно (это привычное для нас слово в Японии не имеет смысла), но как-то беззаботно и простодушно; они делают то, что, видимо, принято в их мире, да и все это в самом

деле гораздо больше, чем я думал, похоже на настоящее бракосочетание.

— Но что же тебе не нравится в этой малютке, — спрашивает господин Кенгуру, тоже весьма огорченный.

Я стараюсь представить дело с наиболее лестной стороны.

— Она очень молода, — говорю я, — и потом, слишком белая; прямо как наши французские женщины, а мне бы хотелось желтую, для разнообразия.

— Но ее же просто накрасили, сударь! Под белилами, уверяю вас, она желтая...

Ив наклоняется к моему уху.

— Там, в уголке, брат, — говорит он, — у последней панели — вы не обратили внимания вон на ту женщину?

Нет, в моем замешательстве я и в самом деле не обратил на нее внимания; она сидела спиной к свету, во всем темном, в небрежной позе человека, привыкшего оставаться в тени. Но эта женщина и в самом деле выглядела намного лучше. Глаза, осененные длинными ресницами, немного раскосые, но красивые по канонам всех стран мира: почти выражение, почти мысль. Бронзовый цвет лица, округлые щеки; прямой нос; полноватые, но хорошо очерченные губы с очень милыми уголками. Не так молода, как мадемуазель Жасмин, — лет восемнадцать, уже более женственна. На лице гримаса скуки, немного даже презрительная, словно она жалеет, что пришла на такое тоскливое, совсем не забавное зрелище.

— Господин Кенгуру, а кто эта маленькая особа в темно-синем, вон там?

— Там, сударь? Эту особу зовут мадемуазель Хризантема. Она пришла вместе со всеми остальными, хотела посмотреть... Она вам нравится? — внезапно спросил он, почуяв возможность иного разрешения его провалившегося дела.

И тогда, забыв о всякой вежливости, всяком этикете, всех этих японских штучках, он берет ее за руку, вынуждает встать, повернуться к догорающим лучам дневного света, показать себя. Она же, проследив за нашими взглядами и начиная догадываться, к чему дело клонится, смущенно опускает голову, и гримаска на ее лице становится более отчетливой, но вместе с тем и более приветливой; полускучая, полуулыбаясь, она пытается отступить.

— Ну, ничего, — продолжает господин Кенгуру, — с тем же успехом все можно уладить и с этой: она не замужем, сударь!

Она не замужем! Так что же тогда этот идиот не предложил мне ее сразу вместо той — которую в результате мне бесконечно жаль, бедняжку, с ее нежно-серым платьем, букетиком цветов, расстроенным личиком и глазками, принявшими выражение, напоминающее большое горе.

— Все можно уладить, сударь! — снова повторяет Кенгуру, который теперь выглядит низкопробным сводником, совершеннейшим мошенником.

Только мы с Ивом, говорит он, во время переговоров будем лишними. И пока мадемуазель Хризантема стоит, потупив, как положено, глазки, пока родственники, чьи лица отражают все степени удивления, все фазы ожидания, сидят кружком на моих белых циновках, он отправляет нас двоих на веранду — и мы смотрим вниз, в глубину, на подернутый дымкой Нагасаки, на синеватый Нагасаки в сгущающихся сумерках...

Долгие речи по-японски, нескончаемый обмен репликами. Господин Кенгуру, — который выглядит фатом и прачкой, только когда изъясняется по-французски, — ведя переговоры, снова вооружается принятыми в его стране длинными формулировками. Время от времени я проявляю нетерпение и спрашиваю этого господина, которого все меньше и меньше принимаю всерьез:

— Ну скажите же нам поскорее, господин Кенгуру, как там, разобрались? Конец виден?

— Сейчас, мисье, сейчас.

Он снова изображает из себя экономиста, рассуждающего о социальных проблемах.

Ну ладно, приходится терпеть медлительность этого народа. И пока вечерний сумрак, словно пелена, обволакивает японский город, у меня есть время уныло поразмыслить о торге, идущем за моей спиной.

Стемнело, совсем стемнело — пришлось зажечь лампы. Только в десять часов все наконец улаживается, заканчивается, и господин Кенгуру сообщает мне:

— Договорились, мисье! Родители отдают ее вам за двадцать пиастров в месяц — за ту же цену, что и мадемуазель Жасмин...

И тогда меня охватывает настоящая тоска при мысли, что я так быстро решился, что я связал себя, пусть даже на время, с этим крохотным созданием, что буду жить вместе с ней в этой уединенной хижине...

Мы возвращаемся; она сидит посреди круга; в волосы ей воткнули букетик цветов. В самом деле ее взгляд что-то выражает, еще немного, и поверится, что эта девушка думает...

Ива удивляет ее скромное поведение, робкое, застенчивое выражение лица девушки, выдаваемой замуж; при таком браке он и вообразить не мог ничего подобного; да и я, признаться, тоже.

— О! Да она и в самом деле очень мила, — говорит он, — очень мила, брат, можете мне поверить!

Он поражен этими людьми, этими нравами, этой сценой; он не может опомниться от всего, что увидел: «Ну надо же!..» — и мысль о том, как он напишет жене в Тульвен длинное письмо обо всем этом, приводит его в восторг.

Мы с Хризантемой беремся за руки. Ив тоже выходит вперед, чтобы прикоснуться к ее маленькой нежной лапке; в общем-то, женюсь я на ней благодаря ему; я не заметил бы ее, если бы не он и не его уверения, что она красива. Кто знает, что выйдет из этого брака? Женщина она или кукла?.. Через несколько дней я, может быть, это узнаю...

...Родственники зажигают на концах легких палочек свои разноцветные фонарики и собираются расходиться, со множеством комплиментов, любезностей, поклонов и приседаний. Когда дело доходит до лестницы, снова начинается — кто после кого, и в определенный момент все они оказываются неподвижно стоящими на четвереньках и вполголоса бормочущими вежливые фразы...

— Что, пропихнуть? — смеясь, говорит Ив (это выражение и действие применяются во флоте, когда надо ликвидировать какой-нибудь затор).

Наконец все это утекает, спускается с последним клокотанием учтивостей и любезностей, которые с каждой ступенькой звучат все тише и тише. А мы остаемся с ним вдвоем в этом странном пустом помещении, где на циновках все еще валяются чайные чашечки, уморительные трубочки и миниатюрные подносики.

— Посмотрим, как они расходятся! — говорит Ив, свешиваясь вниз.

У садовой калитки — те же прощания, те же поклоны, а потом две группы женщин расходятся в разные стороны; их фонарики из размалеванной бумаги удаляются, дрожа и покачиваясь на концах гнувшихся палок — а держат они их кончиками пальцев, словно это удочка, которой они собираются ловить на крючок ночных птиц в темноте. Злополучный кортеж мадемуазель Жасмин поднимается в гору, а кортеж мадемуазель Хризантемы спускается по старой улочке, полулестнице-полутропке, ведущей в город.

Потом мы выходим на улицу. Ночь свежа, безмолвна, восхитительна; вечная музыка цикад наполняет воздух. Еще не скрылись из виду красные фонарики моей новой семьи — они движутся там, вдалеке, спускаются все ниже и ниже и теряются в зияющей бездне, на дне которой — Нагасаки.

Мы тоже спускаемся, но по противоположному склону, быстрыми тропами, ведущими к

морю.

А когда я возвращаюсь на борт и восстанавливаю в памяти всю эту сцену там, в горах, мне кажется, что я обручился понарошку, в кукольном театре...

10 июля 1885

Вот уже три дня, как это свершившийся факт.

Внизу, в одном из новых, космополитических на вид, кварталов в уродливом претенциозном здании, представляющем собой нечто вроде конторы записей актов гражданского состояния, причудливыми буквами это было занесено в журнал и подписано обеими сторонами в присутствии целого собрания маленьких смешных существ, которые раньше были самураями^[22] в шелковых платьях — а ныне стали полицейскими и носят тесный пиджак и фуражку на русский манер.

Церемония бракосочетания происходила при страшной послеполуденной жаре. Хризантема с матерью прибыли со своей стороны, я — со своей. Казалось, мы пришли туда для заключения какого-то постыдного пакта, и обе женщины дрожали перед этими гадкими человечками, которые в их глазах представляют собой закон.

Мне было велено по-французски вписать в официальную галиматью фамилию, имя и занимаемое положение. А затем мне вручили необычайного вида лист рисовой бумаги, означавший данное мне гражданскими властями острова Кюсю разрешение проживать в доме, расположенном в предместье Дью-дзен-дзи, совместно с особой, именуемой Хризантема; разрешение находится под охраной полиции и действительно на весь период моего пребывания в Японии.

А вечером, как ни странно, там, у нас наверху, наша скромная свадьба выглядела очень мило: кортеж с фонарями, праздничный чай, немного музыки... Она и в самом деле была необходима.

А теперь мы почти как старые супруги; у нас уже потихоньку образуются привычки.

Хризантема ухаживает за цветами в наших бронзовых вазах, одевается весьма изысканно, носит носки с отдельно вывязанным большим пальцем и целый день играет на своеобразной гитаре с длинным грифом, издающей печальные звуки...

У нас все как на японской картинке: одни только ширмочки, чудные табуреточки, на которых стоят вазы с букетами, а в глубине комнаты, в закутке, превращенном в алтарь, — большой позолоченный Будда, восседающий на цветке лотоса.

Дом в точности такой, каким я его себе представлял, когда строил планы относительно Японии еще до приезда сюда, стоя ночами на вахте: он примостился высоко в горах, в тихом предместье, среди зеленых садов; он весь состоит из бумажных панелей и при желании разбирается, как детская игрушка. Разные виды цикад день и ночь стрекочут на нашей старой звонкой крыше. Если выйти на веранду, открывается вид с головокружительной высоты птичьего полета на Нагасаки, его улочки, джонки и большие храмы; в определенные часы все это освещается у нас под ногами, словно феерическая декорация.

Мальшка Хризантема — такой силуэт нетрудно увидеть где угодно. Тот, кто хоть раз разглядывал рисунки на фарфоре или на шелке, которых полно нынче на наших базарах, знает наизусть эту прелестную замысловатую прическу, этот торс, всегда слегка склоненный вперед, словно готовый к новому грациозному поклону, этот пояс, завязанный сзади огромным бантом, эти широкие ниспадающие рукава, это платье, почти обтягивающее внизу и заканчивающееся косым шлейфом, напоминающим хвост ящерицы.

Но ее лицо — нет, такого лица не увидишь где угодно; это нечто совсем особенное.

Впрочем, тот тип женщин, которых японцы любят рисовать на своих вазах, представляет собой чуть ли не исключение в их стране. Разве что в благородном сословии можно встретить такое широкое бледное лицо, покрытое нежно-розовыми румянами, с глупой длинной шеей, как у аиста. Этот рафинированный тип (к которому, должен признать, принадлежала мадемуазель Жасмин) попадает редко, особенно в Нагасаки.

В буржуазной среде и в народе безобразие их гораздо веселее, а часто прямо-таки симпатично. Все те же чересчур маленькие, еле открывающиеся глазки, но лица круглее, темнее, живее; у женщин в чертах какая-то размытость, что-то от детства, сохраняющееся на всю жизнь.

А уж до чего смешливы, веселы все эти японские куколки! Веселье, правда, немного нарочитое, надуманное и звучащее порой фальшиво; но все-таки ему поддаешься.

Хризантема — случай особый, ибо она печальна. Что же такое происходит в этой головке? Пока я слишком плохо знаю ее язык, чтобы ответить на этот вопрос. Впрочем, можно ставить один против ста, что там вообще ничего не происходит. Да хоть бы и происходило, мне-то что?..

Я взял ее для развлечения и предпочел бы видеть у нее то же невзрачное, беззаботное личико, что и у других.

VIII

Когда темнеет, мы зажигаем два подвесных ритуальных светильника, и они горят до утра перед нашим золоченым идолом.

Спим мы на полу, на тоненьких хлопчатобумажных матрасиках, которые каждый вечер разворачиваются и кладутся поверх наших белых циновок. Подушкой Хризантеме служит подставочка красного дерева, плотно обхватывающая затылок, чтобы не нарушить никогда не разбирающуюся объемную прическу — наверное, я так никогда и не увижу эти прелестные черные волосы распущенными. Моя же подушка устроена на китайский манер — что-то вроде небольшого квадратного барабана, обтянутого змеиной кожей.

Мы спим под очень темным сине-зеленым газовым пологом цвета ночи, растянутым на оранжевых ленточках. (Мелочи эти освящены традицией, в каждой добропорядочной семье Нагасаки есть такой полог.) Он скрывает нас под собой, как палатка; комары и пяденицы выются вокруг.

.....

На словах все это почти что мило; на бумаге — почти совсем хорошо. В действительности же — нет; чего-то здесь не хватает, и картина получается весьма плачевная.

В других странах мира, на восхитительном острове в Океании, в вымерших старых кварталах Стамбула мне казалось, что словам не под силу выразить все, что я хочу сказать, я бился с собственным бессилием передать средствами человеческого языка пронзительное очарование окружающего мира.

Здесь же, наоборот, слова, даже будучи совершенно точными, всегда оказываются слишком объемными, слишком эмоционально насыщенными; слова приукрашивают. Мне кажется, будто я сам для себя разыгрываю какую-то пошленькую, низкопробную комедию, и стоит мне только попытаться отнестись всерьез к моему браку, как, словно в насмешку, передо мной возникает физиономия господина Кенгуру, брачного агента, которому я обязан своим счастьем.

12 июля

Ив приходит к нам, как только освобождается, — в пять часов вечера, после службы на борту.

Он единственный наш гость-европеец; если не считать нескольких обменов любезностями и чашечками чая с соседями или соседками, мы живем очень уединенно. Лишь по вечерам, взяв в руки фонари на палочках, мы узенькими отвесными улочками спускаемся в Нагасаки, чтобы немного развлечься в театрах, «чайных» или на базарах.

Жена моя забавляет Ива, как игрушка, и он продолжает утверждать, что она очаровательна.

Меня же она приводит в отчаяние, как цикады на крыше. И когда я один в доме и рядом эта крошка, перебирающая струны гитары с длинным грифом, а перед глазами — великолепный вид на пагоды и горы, мне становится грустно до слез...

13 июля

В ту ночь мы спокойно спали под типично японской крышей предместья Дью-дзен-дзи — под этой старенькой тонкой деревянной крышей, иссушенной столетним пребыванием под солнцем и вибрирующей от малейшего шума, словно кожа, натянутая на тамтам, — как вдруг в два часа ночи, посреди ночного безмолвия над нашими головами галопом пронеслась настоящая кавалькада.

— Нэдзуми! (Мыши!)^[23] — сказала Хризантема.

И внезапно это слово напомнило мне другое, из совсем непохожего языка, на котором говорят далеко отсюда: «Сычан!» — Это слово я слышал однажды в другом месте, его произнес возле меня голос молодой женщины при таких же обстоятельствах, в минуту ночного страха. «Сычан!..» Одна из первых наших ночей в Стамбуле, под таинственной крышей в квартале Эюп, когда все вокруг дышало опасностью, и мы вздрагивали при малейшем скрипе ступенек на черной лестнице, — тогда моя милая турчаночка тоже сказала мне на своем любимом языке: «Сычан!» (Мыши!)

Ох! При этом воспоминании я содрогнулся всем телом: как будто я внезапно проснулся от десятилетнего сна; едва ли не с ненавистью посмотрел я на куклу, лежащую рядом со мной, недоумевая, как я оказался на этом ложе, и встал, охваченный отвращением и угрызениями совести, чтобы вылезти из-под синей газовой сети...

Я пошел на веранду... и остановился, вглядываясь в глубь звездной ночи. Подо мной спал Нагасаки, спал, казалось, сладко и беззаботно под стрекотание тысяч насекомых в лунном свете, околдованный розовыми лучами. Потом, обернувшись, я увидел у себя за спиной золоченого идола, перед которым теплились наши лампадки; идол улыбался бесстрастной буддийской улыбкой, и присутствие его, казалось, наполняло воздух комнаты чем-то неведомым и непостижимым; никогда раньше мне не доводилось спать под взглядом этого бога...

Среди покоя и безмолвия глубокой ночи я пытался снова вызвать в памяти душераздирающие стамбульские ощущения. Но, увы! Они больше не возвращались, слишком далеким и странным было все вокруг... Синий газ позволял видеть японку, ее причудливо-грациозную позу, темное ночное одеяние, затылок, лежащий на деревянной подставочке, и блестящие волосы, разделенные на два больших яйцеобразных пучка. Широкие рукава оставляли обнаженными до плеч ее янтарные, нежные, красивые руки.

И дались мне эти пробежавшие по крыше мыши, думала про себя Хризантема. И, естественно, не понимала. Ласково, как кошечка, взглянула она на меня своими раскосыми глазами, спрашивая, почему я не иду спать, — я вернулся и лег рядом с нею.

14 июля

Национальный праздник Франции. На рейде Нагасаки в нашу честь подняты флаги и устроен артиллерийский салют.

Увы! В этот день я все время думаю о 14 июля прошлого года, о том, как спокойно провел я его в тиши старенького отчего дома, заперевшись от непрошенных гостей, в то время как на улице ревела веселящаяся толпа; до самого вечера я сидел под сенью жимолости и винограда на скамейке, где когда-то давно, летними днями моего детства, я устраивался со своими тетрадками, притворяясь, что делаю уроки. О! Чем только не была занята моя голова в те времена, когда я делал уроки, — путешествиями, дальними странами, тропическими лесами, угаданными во сне... Тогда поблизости от садовой скамейки в некоторых отверстиях между камнями стены жили гнусные твари — черные пауки, — всегда начеку, всегда у своего окошечка, готовые в любой момент броситься на легкомысленных мошек или выползшую погулять сороконожку. Одно из моих развлечений состояло в том, чтобы взять травинку или хвостик от вишенки и слегка пощекотать пауков в дырке; обманутые, они сразу же выскакивали наружу, думая, что имеют дело с какой-нибудь добычей, — а я брезгливо отдергивал руку... Так вот, 14 июля прошлого года, когда я вспомнил это навеки ушедшее время диктантов и задачек и игру моего детства, я снова нашел тех же самых пауков (или во всяком случае их потомков), сидящих в тех же самых дырках. И стоило мне взглянуть на них, взглянуть на травинки, на лишайники, как на меня нахлынули воспоминания первых лет моей жизни, воспоминания, столько лет спавшие за старыми стенами, под сенью плюща... В то время как все, что есть мы, меняется и уходит в небытие, не может не поражать тайна постоянства, с которым природа каждый раз одинаково воспроизводит ничтожнейшие мелочи: одни и те же разновидности мха веками зеленеют под одними и теми же деревьями, и те же самые насекомые делают совершенно то же на тех же самых местах...

Признаю, что этот эпизод о детстве и пауках выглядит весьма странно в истории о Хризантеме. Но такие нелепые перебои вполне во вкусе этой страны; их практикуют повсюду: в разговоре, в музыке, даже в живописи; художник, например, закончив горный пейзаж со скалами, не колеблясь нарисует прямо посреди неба круг, или ромб, или еще какую-нибудь рамку и изобразит в ней что-нибудь совершенно неподходящее и неожиданное: бонзу, обмахивающегося веером, или даму с чашечкой чая. Нет ничего более японского, чем такие отступления без всякого повода.

Впрочем, я восстановил все это в памяти для того, чтобы подчеркнуть для самого себя разницу между прошлогодним 14 июля, таким спокойным, в привычной обстановке, знакомой с самого моего прихода в этот мир, — и нынешним, куда более суетливым, в обстановке чужой и странной.

Итак, сегодня под палящим послеполуденным солнцем три быстроногих дзина, выстроившись гуськом, во весь опор мчат Ива, Хризантему и меня в подпрыгивающих повозочках на другой конец Нагасаки и высаживают нас у подножия гигантской лестницы, прямо поднимающейся в гору.

Это лестница большого храма Осуэва; она из гранита, и такая широкая, словно предназначена для целого армейского корпуса; она величественна и проста, как постройки Вавилона^[24] или Ниневии,^[25] и резко контрастирует с окружающей манерностью.

Мы взбираемся все выше и выше, — Хризантема безразлична, прикидывается утомленной

под своим бумажным зонтиком с розовыми бабочками на черном фоне.

Продолжая подниматься, мы проходим под огромными храмовыми портиками, тоже гранитными, грубыми и примитивными по форме. По правде сказать, эти храмовые лестницы и портики — единственно более или менее грандиозное из всего, рожденного воображением этого парода; они вызывают удивление, даже не скажешь, что они японские.

Мы взбираемся еще выше. В это жаркое время дня на всей гигантской серой лестнице от первой и до последней ступени нет никого, кроме нас троих; и только розовые бабочки Хризантемы образуют более или менее веселое, более или менее яркое пятно среди массы гранита.

Мы проходим первый двор храма, где разместились две башенки из белого фарфора, бронзовые фонари и большой нефритовый конь. Потом, не задерживаясь в святилище, мы сворачиваем налево и попадаем в тенистый сад, образующий террасу на середине горы, в глубине которого расположена Донко-Тя — в переводе «Чайная жаб».

Туда-то нас и вела Хризантема. Мы садимся за столик под навесом из черной материи, украшенным большими белыми иероглифами (вид похоронный), — и две необычайно смешные мусме^[26] спешат нас обслужить.

Слово мусме означает девушку или очень молодую женщину. Это одно из самых славных слов в японском языке; в нем словно есть что-то от французского moue («му» — гримаса) — от той приветливой и чудной гримаски, что не сходит с их лиц, — а еще больше от frimousse («фримусс» — мордашка) — такой милой, несуразной мордашки, как у них. Я буду часто употреблять это слово, потому что не могу найти равного ему во французском языке.

Наверное, какой-нибудь японский Ватто^[27] спроектировал эту Донко-Тя, выдержанную в немного нарочитом, но очаровательном сельском стиле. Она расположена в тени, под кронами больших и очень густых деревьев; рядом, в миниатюрном озерце, живут несколько жаб, которым и обязана она своим привлекательным названием. Хорошо живет этим жабам — гуляют себе и поют на нежнейшем мху, посреди милейших искусственных островков, украшенных цветущими гардениями. Время от времени кто-нибудь из жаб делится с нами своими соображениями: «Ква-а-а» — и голос ее звучит низко, куда более глухо, чем у наших французских.

Под навесом этой чайной кажется, словно сидишь на балконе, выступающем из горы и очень высоко нависающем над сероватым городом и его утопающими в зелени предместьями. Вокруг, выше и ниже нас, изо всех сил цепляются за горный склон маленькие рощицы, свежие-свежие деревца с нежной, немного однообразной по форме листвой, характерной для умеренных широт. А под ногами у себя мы различаем глубокую бухту, которая издали и сбоку выглядит жутким темным провалом среди груды огромных зеленых гор; а еще там, в глубине, совсем низко, на воде, кажущейся черной и неподвижной, виднеются крошечные, словно расплющенные, корабли — военные, пассажирские, джонки, со всех сторон разукрашенные нынче флагами. На темно-зеленом фоне — преобладающем оттенке пейзажа — яркими пятнами выделяются тысячи кусочков материи, представляющие собой эмблемы наций — и все они подняты во славу далекой Франции.

Чаще всего в этом пестром рисунке встречается белый флажок с красным кружком посередине — он символизирует Империю восходящего солнца, где мы находимся.

Если не считать трех или четырех мусме, упражняющихся в стрельбе из лука, мы сегодня практически одни в этом саду, и гора вокруг нас безмолвствует.

Хризантема, докурив сигарету и допив свой чай, тоже изъявляет желание поупражняться в этом искусстве, которое до сих пор в чести у молодых дам. Тогда старенький господин — смотритель тира — выбирает для нее свои лучшие стрелы с красно-белым оперением, и вот она

уже прицеливается, очень и очень серьезно. Мишенью служит круг, нарисованный посреди картины, где серой краской изображены ужасные химеры в облаках.

Хризантема действует ловко, ничего не скажешь, и мы любимся ею, как она того и хотела.

Ив, обычно весьма искусный в спортивных играх, тоже хочет попробовать, и у него ничего не получается. Забавно наблюдать, как она, со множеством улыбочек и ужимок, направляет своими пальчиками большие матросские руки, как следует расставляет их на луке и на тетиве, учит его хорошим манерам... Никогда прежде Ив и моя куколка так хорошо не смотрелись вместе; настолько хорошо, что я бы заволновался, не будь я полностью уверен в моем удалом брате, и не будь мне все это, по правде говоря, совершенно безразлично.

Внезапно среди тишины и покоя сада и мягкого безмолвия гор нас заставляет вздрогнуть доносящийся снизу грохот; ужасный, мощный одиночный удар, бесконечно долго не смолкающий в вибрирующем металле... И снова то же самое, еще страшнее — бум! — принесенное дуновением поднимающегося бриза.

— Ниппон канэ! — объясняет нам Хризантема.

И снова возвращается к своим стрелам с ярким оперением. Ниппон канэ (японская бронза), звенящая японская бронза! Да это же чудовищный колокол одного буддийского храма, расположенного в предместьи прямо под нами. Да, мощная она, эта «японская бронза»! Когда колокол уже отзвенел и его больше не слышно, кажется, будто какой-то трепет остается в нависающей листве, будто сам воздух сотрясается нескончаемой дрожью.

Вынужден признать, что Хризантема выглядит очень мило, когда пускает свои стрелы, прогнувшись назад, чтобы лучше натянуть лук; широкие рукава задрались до самых плеч, обнажив грациозные руки, гладкие, как янтарь, и слегка напоминающие его цветом. При взлете каждой стрелы слышится тот же звук, что при взмахе птичьего крыла; а потом короткий сухой удар — в цель, всегда — в цель...

С наступлением темноты мы с Ивом провожаем Хризантему в Дью-дзен-дзи и идем через европейскую концессию к себе на корабль, чтобы заступить на дежурство до завтрашнего дня. В этом разноязыком квартале, источающем запах абсента, все расцветено флагами, и народ запускает петарды в честь Франции. Пробегают вереницы дзинов, которые со всей скоростью, на какую только способны их босые ноги, тащат наших вопящих и обмахивающихся веерами матросов с «Победоносной». Повсюду звучит наша бедная «Марсельеза»; ^[28] английские моряки поют ее гортанными голосами, медленно и похоронно, как свой «God save». ^[29] И во всех американских барах тоже, желая привлечь наших людей, ее наигрывают механические пианино с чудовищными вариациями и ритурнелями...

А-а! И еще одно странное воспоминание от этого вечера. На обратном пути мы случайно оказались на улице, где живет множество не совсем порядочных дам. Как сейчас вижу большого Ива, отбивающегося от целой оравы совсем маленьких мусме, двенадцати-, четырнадцатилетних гетер ^[30] ростом ему по пояс, которые тянут его за рукава, пытаются склонить к греху. Отцепившись от них, он произнес свое «Ну надо же!», в высшей степени пораженный и негодующий, что они такие молоденькие, крошечные, совсем дети, и уже такие наглые.

18 июля

Теперь их уже четверо — четверо офицеров с нашего корабля, женившихся, как и я, и живущих в том же предместьи, только чуть пониже. Как ни странно, эта авантюра привлекла многих. Все образовалось без каких-либо опасностей, трудностей, тайн, при посредничестве того же Кенгуру.

И мы, естественно, принимаем у себя всех этих дам.

Это, во-первых, госпожа Колокольчик, наша вечно смеющаяся соседка, жена мальчика Шарля N***. Потом, госпожа Нарцисс, смеющаяся еще чаще, чем Колокольчик, и похожая на молодую птицу; из всей компании она самая хорошенькая, и замужем она за X***, блондином нордического типа, который просто обожает ее; они у нас — влюбленная и неразлучная парочка; наверное, единственные, кто будут плакать, когда придет час расставания. Еще есть Сику-сан с доктором Y***. И наконец, аспирант Z*** с маленькой, крошечной госпожой Туки-сан; ростом она не выше полуботинка; и лет ей не больше тринадцати, но уже женщина — важная, бойкая, настоящая кумушка. В детстве меня иногда водили в театр Ученых зверей; там была некая госпожа де Помпадур, самая что ни на есть заглавная роль, которую исполняла обезьянка с султаном на голове, — я ее как сейчас вижу. Так вот эта самая Туки-сан мне ее напоминает.

По вечерам, как правило, все это общество заходит за нами, чтобы отправиться на большую прогулку с фонарями, — теперь у нас получается целая процессия. Моя жена, будучи серьезнее, грустнее, может, даже рафинированнее других и принадлежа, как мне кажется, к лучшему сословию, пытается играть роль хозяйки дома, когда к нам приходят друзья. Смешно смотреть, как входят эти плохо подобранные пары, объединившиеся на один день; как дамы кланяются, будто на шарнирах, в три приема падая на четвереньки перед Хризантемой — настоящей королевой.

Когда вся компания в сборе, мы отправляемся в путь; мы выходим гуськом, под ручку с дамами, и всегда держим в руках белые или красные фонарики на бамбуковых палочках — похоже, все это выглядит довольно мило...

Нам надо спуститься по так называемой улице, больше напоминающей козью тропу, ведущей в старый японский Нагасаки, — к сожалению, с перспективой ночью карабкаться обратно наверх, карабкаться по всем этим ступеням, по скользким склонам, спотыкаться о камни, чтобы добраться наконец до дому, лечь и заснуть. Спускаемся мы в темноте, пробираясь под ветками деревьев между черными садами, между маленькими домиками, скудно освещающими дорогу; так что фонарики совсем не лишние, когда нет луны или она скрыта за облаками.

Наконец мы спускаемся вниз и сразу же, без всякого перехода, попадаем в самый центр Нагасаки, на длинную освещенную улицу, где полно народу, где во весь опор с криками проносятся дзины, где сверкают и дрожат на ветру тысячи бумажных фонариков. Спокойствие нашего тихого предместья сменяется шумом и движением.

Здесь ради соблюдения приличий нам следует разделить с женами. Они все пятеро берутся за руки, как девочки на прогулке. А мы с безучастным видом идем за ними следом. Сзади, надо сказать, эти куколочки очень милы, у них такие аккуратненькие прически и такие кокетливые черепаховые шпильки. Они волочат ноги, производя при этом противный звук своими высокими деревянными башмаками, и стараются идти носком внутрь — это считается

модным и элегантным. Каждую минуту они заливаются смехом.

Да, со спины они очень милы; как и у всех японок, у них прелестные затылки. А главное, чудно видеть, как они выстраиваются в шеренгу. Между собой мы называем их «Наши ученые собачки», и они действительно ведут себя очень похоже.

Этот большой Нагасаки повсюду совершенно одинаков — везде горят масляные лампы, везде мигают разноцветные фонарики, везде несутся как угорелые дзины. Повсюду одни и те же узенькие улочки, вдоль которых стоят одни и те же низенькие домики из дерева и бумаги. Повсюду одни и те же лавочки, незастекленные, открытые всем ветрам; они одинаково просты и бесхитростны, что бы в них ни мастерилось, что бы ни продавалось, будь то тонкие золоченые лаковые изделия, дивной красоты вазы или же старые котелки, сушеная рыба и разные лохмотья. А все торговцы сидят на земле посреди своих изысканных или грубых побрякушек с обнаженными до пояса ногами, почти выставя напоказ то, что у нас обычно прячут, но стыдливо прикрывая торс. А еще милейшего вида ремесленники с помощью простейших приемов, занимаются на глазах у публики самыми разнообразными уморительными ремеслами.

О! До чего же странные вещи выставлены на этих улицах, и до чего причудливы и неожиданны эти базары!

В городе никогда не встретишь лошадей или экипажи; люди ходят только пешком или ездят в смешных повозочках, которые тянут за собой люди-сороходы. Иногда попадают европейцы с судов, стоящих на рейде; попадают и японцы (к счастью, пока немногочисленные), пытающиеся носить сюртук; другие же довольствуются тем, что добавляют к национальной одежде котелок, из-под которого свисают длинные пряди прямых волос. Везде суета, дела, торговля, побрякушки — смех...

На базарах наши мусме каждый вечер делают много покупок; им всего хочется, как избалованным детям, — игрушек, шпилек, поясов, цветов. А потом, они очень мило дарят подарки друг другу, улыбаясь как маленькие девочки. Колокольчик, например, выбирает для Хризантемы хитроумный фонарик, где китайские тени, при помощи невидимого механизма, водят нескончаемый хоровод вокруг язычка пламени. Хризантема в ответ дарит Колокольчику волшебный веер, где картинку с бабочками, порхающими над цветами вишни, можно при желании поменять на изображение загробных чудовищ, преследующих друг друга среди черных туч. Туки дарит Сику картонную маску, представляющую собой напыщенную физиономию Дайкоку, бога богатства;^[31] Сику отвечает хрустальной трубой, из которой можно извлекать совершенно необычайный звук — нечто вроде индюшиного клекота. Все это какое-то чересчур странное, зловеще несуразное; любая вещь изумляет и кажется непостижимым порождением ума, устроенного совсем не так, как у нас...

В модных чайных, где мы заканчиваем свой вечер, маленькие служаночки теперь кланяются, едва завидев нас, с видом почтительного узнавания; мы для них — одна из компаний, ведущих шикарный образ жизни в Нагасаки. Начинается бессвязная болтовня, часто без всякого смысла, бесконечное хитросплетение странных слов — и все это в освещенных фонарями садиках, возле водоемов с красными рыбками, где есть мостики, островки и развалины башенок. Нам подают чай, белые или розовые конфеты с перцем, ни на что не похожие по вкусу, странные напитки со льдом и со снегом, напоминающие запах духов или цветов.

Чтобы точно описать эти вечера, нужен более манерный язык, чем наш; а еще нужен специальный графический знак, который можно будет наугад поставить между словами, чтобы указать читателю момент, когда он должен разразиться смехом, — немного нарочитым, но свежим и славным...

А когда кончается вечер, надо возвращаться туда, наверх...

Ох уж эта улица, ох уж эта дорога! Ведь каждую ночь, под звездным небом и под грозowymi тучами приходится подниматься по ней, таща за руку свою засыпающую на ходу мусме, чтобы добраться наконец до повисшего на середине склона домика, до постели из циновок...

Лучше всех из нас устроился Луи де S... Уже побывав прежде в Японии и женившись тогда, он теперь довольствуется положением друга наших жен; он их Томодачи та-кусан такай — очень высокий друг (как они называют его из-за его чрезмерного роста, которому слегка не хватает объема). Поскольку он говорит по-японски лучше нас, ему они доверяют свои сокровенные тайны; он ссорит и мирит супругов когда вздумается и здорово потешается над нами.

Очень высокий друг наших жен может сколько угодно забавляться обществом этих маленьких созданий, не имея при этом никаких домашних забот. Они с моим братом Ивом и мальшкой Оюки (дочерью госпожи Сливы, моей хозяйки) дополняют собой наше разношерстное сборище.

Господин Сахар и госпожа Слива^[32] — мой хозяин и его жена, два уморительных типа, словно сошедшие с ширмы, — живут под нами, на первом этаже. Оба они староваты, чтобы иметь такую дочь, как пятнадцатилетняя Оюки, неразлучная подружка Хризантемы.

И муж и жена преисполнены синтоистской^[33] набожности: вечно стоят на коленях перед семейным алтарем, вечно воссылают к духам свои длинные молитвы, время от времени хлопая в ладоши, чтобы снова собрать вокруг себя этих невнимательных существ, витающих в облаках. В свободное же время они выращивают в размалеванных фаянсовых горшочках карликовые кустики и неправдоподобные цветы, замечательно пахнущие по вечерам.

Господин Сахар молчалив, не слишком общителен, иссушен, как мумия, в своем синем хлопчатобумажном одеянии. Много пишет (думаю, мемуары) кисточкой, которую держит кончиками пальцев, на длинных рулонах рисовой бумаги, слегка оттененной серой краской.

Госпожа Слива услужлива, подобострастна, алчна, брови тщательно выбриты, зубы старательно покрыты черным лаком, как положено добропорядочной даме. В любой час возникает на четвереньках на пороге нашего жилища, чтобы оказать нам какую-нибудь услугу.

Оюки по десять раз на дню врывается к нам в самые неподходящие моменты (когда мы или спим, или одеваемся), влетает, как дуновение жеманной молодости и причудливого веселья, как воплощенный раскат смеха. Совсем кругленькое тело, совсем кругленькое личико. Полудитя-полудевушка. И такая непосредственная, из-за всякого пустяка целует вас прямо в губы своими полными, подвижными губами, немного влажноватыми, но такими свежими, такими красными...

Благодаря лампадам, горящим перед позолоченным Буддой, мы, в нашем всегда открытом жилище, проводим ночи в обществе насекомых из всех окрестных садов. Пяденицы, комары, цикады и другие необыкновенные насекомые, названий которых я не знаю, — все собираются у нас.

А когда заявляется какой-нибудь незваный кузнечик, какой-нибудь беззастенчивый, беспардонный скарабей^[34] и бегаёт по нашим белым циновкам, надо видеть, как Хризантема взывает к моему возмущению, указывая на него пальцем и произнося одно только «У-у!», с опущенной головой, неопикуемой гримасой и оскорбленным взглядом. Существует специальный веер, чтобы выгонять непрошенных гостей на улицу.

Здесь я вынужден признать, что читателю моя история должна казаться невероятно затянутой...

Раз уж нет интриги и трагических происшествий, мне бы хотелось, по крайней мере, суметь хоть отчасти выразить, как благоухают окружающие меня сады, как ласково греет солнце, как приятна тень этих красивых деревьев. Раз уж нет любви, — хоть как-то передать умиротворяющее спокойствие отдаленного предместья. Выразить, как звучит гитара Хризантемы, — за неимением лучшего я уже нахожу некоторое очарование в этой музыке, раздающейся в тиши прекрасных летних вечеров...

Во время только что минувшего июльского полнолуния стояла ясная, тихая, великолепная погода. До чего же прекрасны эти светлые ночи, до чего прекрасны розовые отблески дивного лунного света и голубые тени в густых зарослях деревьев!.. И до чего же красив этот спящий город, когда смотришь на него с нашей веранды!..

Боже, да и малышка Хризантема в общем-то мне не противна. Ведь если люди не испытывают друг к другу ни физического отвращения, ни ненависти, привычка в конце концов создает между ними своего рода связь несмотря ни на что...

И все время этот стрекот цикад, пронзительный, бесконечный, беспрестанный, день и ночь не смолкающий в японских горах. Он всегда и повсюду, в самый знойный час дня, в самый свежий час ночи. Еще на рейде, едва причалив, мы услышали его с обоих берегов, с обоих нависших над нами зеленых склонов. Он неотступен и неутомим; в нем выражается, в нем прямо-таки пульсирует необычная жизнь этого уголка земли. Это голос лета на японских островах; это музыка неосознанного праздника, всегда равная самой себе и постоянно стремящаяся стать громче, разрастись для пущего восхваления радости жизни.

Для меня стрекот цикад — характерный звук этой страны, как и крик кречета местной породы, тоже приветствовавший нас при подходе к японским берегам. Эти птицы парят над долинами и глубокими бухтами, время от времени издавая свое тройное «А-а-а», звучащее грустно, словно исполненное тягостного удивления и боли. А горы вторят их крику.

Ив, Хризантема и малышка Оюки так подружились, что это стало меня забавлять; мне даже кажется, что в моей семейной жизни меня как раз больше всего и забавляет их близость. Между ними такой контраст, что это приводит к самым неожиданным и уморительным ситуациям. Он, со своей матросской непринужденностью и своим бретонским акцентом, в этом хрупком бумажном домике рядом с жеманными мусме; высокий, здоровый парень со звучным, низким голосом, между двумя малютками с птичьими голосками, которые вертят им как хотят и заставляют есть палочками; обучают его своим детским играм, жульничают, ссорятся и помирают со смеху.

Они с Хризантемой явно очень нравятся друг другу. Но я по-прежнему доверяю ему и не могу себе представить, чтобы из-за этой случайной супруги между «братом» и мною могло возникнуть малейшее недоразумение.

Мои японские родственники, многочисленные и часто дающие о себе знать, — предмет большого веселья для офицеров нашего судна, приходящих нас навестить, и особенно для томодачи такусан такай (сверхвысокого друга).

Очаровательная теща — настоящая светская дама; малышки-свояченицы, малышки-кузины и еще молоденькие тетушки.

У меня даже есть бедный родственник — дзин. В этом мне признались не без колебаний; но когда нас представляли друг другу, мы заулыбались как старые знакомые — это был 415-й номер!

Над этим бедным 415-м номером потешаются мои друзья по судну, особенно один, меньше чем кто-либо имеющий на это право, — малыш Шарль N***, у которого самого теща была то ли консьержкой, [\[35\]](#) то ли чем-то в этом роде, у входа в пагоду.

Я же, наоборот, особенно ценю этого родственника, так как очень высоко ставлю проворство и силу.

К тому же его ноги — лучшие в Нагасаки, и каждый раз, когда мне надо срочно куда-нибудь поехать, я прошу госпожу Сливу послать вниз, на стоянку дзинов, за моим кузенком.

Сегодня, в полуденный зной, я неожиданно появился в Дью-дзен-дзи. Внизу у лестницы валялись деревянные башмаки Хризантемы и ее сандалии из лакированной кожи.

У нас наверху все было открыто, с солнечной стороны опущены бамбуковые шторы; сквозь них легко проходил теплый воздух и золотистый свет. На этот раз в наши бронзовые вазы Хризантема поставила лотосы, и, едва я вошел, мой взгляд сразу же упал на эти большие розовые чаши.

Она, по своему обыкновению, спала после обеда, лежа на полу.

...Какая необычная форма всегда у этих букетов, сделанных Хризантемой: что-то трудноопределимое, какая-то чисто японская стройность, витиеватое изящество, которого мы никогда бы не могли достичь.

Она спала на циновках, лежа на животе, ее высокая прическа и черепаховые шпильки холмиком возвышались над лежащим телом. Маленький шлейф ее туники, как хвост, продолжал ее хрупкую фигурку. Вытянутые вперед руки были сложены крестообразно, рукава разметались, как крылья, — а рядом лежала ее длинная гитара.

Она была похожа на мертвую фею. А еще напоминала большую синюю стрекозу, упавшую сюда и пригвожденную к этому месту.

Госпожа Слива, поднявшаяся следом за мной, как всегда подобострастная и угодливая, принялась жестами выражать свое возмущение, увидев, как беспечно встречает Хризантема своего хозяина и господина, и ринулась будить ее.

— Ради Бога, не надо, добрая госпожа Слива! Если б вы знали, насколько больше она мне нравится такой!

Обувь я, по обыкновению, оставил внизу, рядом с маленькими башмачками и маленькими сандалиями; тихонько, на цыпочках, я прошел через комнату и сел на веранде.

Как жаль, что Хризантема не может спать все время: так она замечательно дополняет декорацию и, по крайней мере, не нагоняет на меня скуку. Как знать, быть может, если бы я мог лучше понимать, что творится в ее головке и в ее душе... Но вот ведь любопытно, с тех пор как я живу с ней, вместо того чтобы продвинуться в изучении японского языка, я совсем забросил его, почувствовав всю невозможность когда-либо им заинтересоваться...

Сидя у себя на веранде, я смотрел на простирившиеся подо мной леса и зеленые горы, храмы и кладбища, на залитый солнцем Нагасаки. Цикады стрекотали пронзительно, как никогда, и воздух дрожал, как в лихорадке, от их стрекота. Все вокруг было спокойным, ярким и теплым...

И все же, на мой взгляд, недостаточно! Что же изменилось на земле? Те знойные летние полдни, что сохранились в моих далеких воспоминаниях, были еще ярче, еще солнечнее; Ваал^[36] раньше казался мне могущественнее, страшнее. Можно подумать, что все это — лишь бледная копия того, что я знал в мои первые годы, копия, которой чего-то недостает. И я с грустью спрашиваю себя: неужели действительно это и есть летнее великолепие — неужели таким оно и было? Или же глаза мои неверны и со временем мне предстоит увидеть, как все еще больше поблекнет?..

За моей спиной зазвучала музыка, сначала еле слышно — грустные до дрожи звуки, тоненькие-тоненькие, как стрекот цикад, — потом громче, превращаясь в жалобный стон, в жеманное причитание встревоженной, страждущей японской души в полуденной тишине: это Хризантема просыпалась одновременно со своей гитарой...

И мне понравилось, что, увидев меня, она решила поиграть мне, а не бежать здороваться. (Я никогда не принуждал себя прикидываться хоть немного влюбленным в нее; но отношения наши все более охлаждаются, особенно когда мы одни.) Правда, на сей раз я специально обернулся, чтобы ей улыбнуться, и показал ей жестом: «Поиграй еще. Мне приятно слушать твою странную импровизацию». Удивительно, до чего жалобной может быть музыка у этого смешливого народа. Но то, что играет Хризантема, решительно заслуживает внимания... И где она это взяла? Что за невыразимые, непостижимые для меня грезы проносятся в ее кукольной головке, когда она вот так играет или поет?..

И вдруг «тук, тук, тук» — трижды сухо стучат пальцем о ступеньку нашей лестницы, и в проеме двери возникает кретин в сером драповом костюме, приветствующий нас поклоном.

— Заходите, заходите, господин Кенгуру! — Надо же, как вы вовремя, а то эта Япония чуть было не вскружила мне голову!..

Оказывается, господин Кенгуру просто хотел со всем подобающим почтением вручить нам счетик за стирку, нырнув при этом всем телом вперед, сложив руки на коленях, как положено, и присвистывая, словно уж.

Если, миновав наш дом, продолжать подниматься по той же дороге, по пути попадетсЯ еще десяток стареньких домиков, несколько садовых оград, а потом — одни лишь пустынные горы, тропинки, ведущие к вершинам через чайные плантации, кусты камелий, колючки и скалы. И все эти горы, обступающие Нагасаки, усеяны кладбищами; веками сюда поднимают мертвецов.

Но в японских захоронениях нет ничего печального, ничего ужасного; такое впечатление, что у этого инфантильного^[37] и легкомысленного народа даже смерть не принимается всерьез. Над могилами возвышаются гранитные Будды, сидящие в цветках лотоса, или могильные столбики с золотыми надписями; небольшое пространство для кладбища выгораживается прямо посреди леса или на живописно расположенных естественных террасах; добраться туда, как правило, можно по длинным каменным лестницам, устланным мхом, время от времени проходя под священными портиками,^[38] по форме всегда одинаковыми — простыми и грубыми, в уменьшенном виде повторяющими портики храмов.

Горные надгробья, расположенные над нами, такие древние, что не внушают страха даже ночью. Это район заброшенных кладбищ. Похороненные здесь мертвецы давно истлели в земле. Тысячи серых столбиков и множество старых маленьких будд, изъеденных лишайниками, теперь всего лишь напоминание о целой веренице жизней, предшествовавших нашему существованию и бесследно канувших в таинственную бездну времени.

Кушанья Хризантемы — это нечто невообразимое.

Все начинается с утра, сразу после сна, с двух маленьких зеленых слив с живой изгороди, замаринованных в уксусе и обваленных в сахарной пудре. Чашка чаю дополняет этот почти традиционный завтрак — то же самое едят внизу у госпожи Сливы, то же самое подают постояльцам в гостиницах.

Далее, в течение дня, следуют два очень странно сервированных обеда. От госпожи Сливы, где все это готовится, на красном лаковом подносе ей приносят еду в крошечных чашечках с крышками: рубленое мясо воробья, фаршированную креветку, водоросль в соусе, соленую конфетку, засахаренный перец... Все это Хризантема пробует краешком губ с помощью своих маленьких палочек, с подчеркнутым изяществом приподнимая кончики пальцев. При каждом новом блюде она строит гримасу, оставляет три четверти и потом брезгливо вытирает ногти.

Ее меню весьма разнообразно, все зависит от вдохновения госпожи Сливы. Единственное, что всегда неизменно, у нас ли, в другом ли месте, на юге империи или на севере, — это десерт и то, как его едят: после множества смехотворных блюд подается деревянный чан, обшитый медью, огромный, как для Гаргантюа,^[39] доверху наполненный рисом, сваренным в простой воде; Хризантема накладывает себе целую чашку (а то и две, а то и три), поливает белоснежную поверхность черным рыбным соусом из тоненького синего графинчика; перемешивает это все; подносит к губам и своими двумя палочками запикивает весь этот рис себе в рот.

Затем собираются чашечки, крышечки и последние крошки, упавшие на белые циновки, — не дай Бог, что-нибудь запятнает их безукоризненную чистоту. Обед закончен.

2 августа

Внизу, в городе, на одном из перекрестков расположилась уличная певица; люди собирались, чтобы ее послушать, и мы втроем, проходя мимо, тоже остановились вместе с другими. Ив, Хризантема и я.

Совсем молоденькая, немного полноватая, довольно миловидная, она брэнчала на своей гитаре и пела, дико вращая глазами, как виртуозка, исполняющая особо трудный пассаж. Она опускала голову, прижимая подбородок к шее, чтобы извлечь еще более низкие ноты из самой глубины своего существа; даже непонятно, откуда брался у нее этот грубый и хриплый голос, голос старой жабы, голос чревоуещателя (в чем, собственно, и заключается высокая театральная манера, последнее слово в искусстве исполнения трагических фрагментов).

Ив взглянул на нее возмущенно.

— Нет, ну надо же! — сказал он. — Да у нее же голос, как у... (от удивления ему не хватало слов), как у... как у чудища!..

И он посмотрел на меня почти с ужасом, ему не терпелось узнать, что же я думаю об этой малютке.

Впрочем, мой бедный Ив сегодня был не в духе, потому что я заставил его надеть соломенную шляпу с сильно загнутыми полями, которая ему не нравится.

— Уверяю тебя, Ив, она тебе очень идет.

— Да? Это вы так говорите... А мне кажется, она похожа на сорочье гнездо!

От певицы и шляпы нас отвлекает приближающаяся с другого конца улицы процессия, с виду напоминающая похоронную. Возглавляют ее бонзы^[40] в одеяниях из черного газа — лица как у католических священников; главный персонаж шествия — покойник — движется позади них в премиллом крытом паланкине.^[41] Далее следует кучка мусме, прячущих свои смешливые мордашки под неким подобием вуали и несущих искусственные лотосы с серебряными лепестками в вазах ритуальной формы — обязательный атрибут похорон; за ними, жеманничая и с трудом сдерживая смех, выступают прекрасные дамы под зонтиками, разрисованными яркими бабочками и аистами...

Вот они уже поравнялись с нами, надо посторониться, чтобы дать им пройти. И вдруг Хризантема принимает подобающий вид, а Ив стаскивает с головы свое сорочье гнездо...

Да, ведь перед нами же действительно проходит смерть! А я и не подумал... по виду никак не скажешь...

Процессия будет карабкаться высоко-высоко над Нагасаки, на зеленую гору, сплошь усеянную могилами. А там беднягу опустят в землю вместе с его паланкином, вазами и цветами из фольги. И тут-то наконец несчастный покойник окажется в приятном месте и сможет наслаждаться прекрасным видом...

А народ пойдет обратно, полусмеясь-полухныча.

Завтра обо всем этом никто и не вспомнит.

4 августа

«Победоносная», все время стоявшая на рейде почти у самого подножия холмов, на которых находится мой дом, сегодня отправляется в док, чинить пострадавшие от долгой блокады на Формозе^[42] борта.

И теперь я очень далеко от дома; чтобы повидать Хризантему, мне приходится переплывать на лодке всю бухту, так как док расположен на противоположном от Дью-дзен-дзи берегу. Он спрятан в небольшой долине, глубокой и узкой; сверху над ним нависает разная зелень: бамбук, камелии, всевозможные деревья; и когда смотришь с палубы на мачты и реи, кажется, что они подвешены на ветвях.

Когда корабль на якоре, экипажу легко незаметно убежать в любой час ночи, и наши матросы завязали отношения со всеми девушками из деревень, расположенных над нами выше по склону.

Такое времяпровождение, такая чрезмерная свобода заставляют меня беспокоиться за моего бедного Ива, у которого от этой страны удовольствий немного закружилась голова.

Впрочем, я все больше и больше склоняюсь к мысли, что он влюблен в Хризантему.

До чего же все-таки жаль, что чувство это не пришло ко мне, раз уж именно я женился на ней...

Несмотря на увеличившееся расстояние, я продолжаю каждый день приходить в Дью-дзен-дзи. Обычно бывает уже темно, когда мои четверо друзей с супругами заходят за нами, и мы вместе с Ивом и потрясающе высоким другом спускаемся обратно в город, с фонарями в руках сбегая по лесенкам и откосам старого предместья.

Эти ночные прогулки мало чем отличаются одна от другой, и развлечения всегда одинаковы: каждый раз мы останавливаемся у одних и тех же экзотических витрин и пьем одни и те же сладкие напитки в одних и тех же садиках. Но компания наша часто выступает в увеличенном составе; прежде всего, мы берем с собой Оюки, родители отпускают ее с нами; потом — двух кузин моей жены, очень и очень хорошеньких, и, наконец, подружек, маленьких гостей, порой не старше десяти — двенадцати лет, девочек из нашего квартала, которым нашим мусме вздумается оказать любезность.

Ох! До чего же удивительное маленькое общество тащим мы за собой в чайные по вечерам! Уморительные мордашки, букетики, чудно торчащие над смешными детскими головками! Можно подумать, мусме из самого настоящего пансиона выпустили вечером погулять под нашим присмотром.

Ив провожает нас, когда надо возвращаться наверх, Хризантема при этом тяжело вздыхает, как усталый ребенок, останавливается на каждой ступеньке и виснет у нас на руках.

Дойдя с нами до дому, он прощается, касается руки Хризантемы, а потом снова спускается по склону, ведущему к набережным и кораблям, и опять плывет через бухту на сампане, чтобы добраться до «Победоносной».

А мы с помощью специального кольца с секретом открываем калитку нашего сада, где упоительно благоухают аккуратно расставленные в темноте цветочные горшки госпожи Сливы. Мы идем по саду, озаренному светом луны или звезд, и поднимаемся к себе.

Если уже поздно — что иногда случается, — мы, вернувшись, находим все деревянные панели расставленными и запертыми стараниями господина Сахара (предосторожность против воров), что делает наши апартаменты похожими на обычную европейскую комнату с четырьмя стенами.

Когда дом закрыт со всех сторон, в нем стоит странный запах, с примесью мускуса и лотоса — неотъемлемый запах Японии, желтой расы, исходящий то ли от земли, то ли от древней деревянной обшивки, — почти животное зловоние. Газовый темно-синий навес над нашим ложем свисает с потолка, подобно таинственному пологу. Золоченый Будда неизменно улыбается перед горящими лампадками; несколько прижившихся у нас пядениц, днем спавшие, прилепившись к потолку, кружатся теперь перед носом у бога вокруг тоненьких язычков пламени. А на стене, прижавшись и распластав во все стороны лапы, дремлет какой-нибудь садовый паук, — убивать которого нельзя, потому что на дворе вечер. «У-у!» — возмущенно произносит Хризантема, указывая мне на него пальцем. Быстро за веер для насекомых, надо выгнать паука на улицу...

Вокруг нас царит тишина, от которой почти сжимается сердце после недавнего веселья, городского шума и смеха мусме; сельская тишина, тишина уснувшей деревни.

Звук раздвигания и запираания бесчисленного множества деревянных панелей, каждый вечер доносящийся из всех японских домов, будет одним из впечатлений об этой стране, которое навсегда останется в моей памяти. От соседей, через зеленые сады, эти звуки долетают до нас по очереди, сериями, одни явственнее, другие приглушеннее, одни ближе, другие дальше.

Прямо под нами, у госпожи Сливы, панели ездят плохо, скрипят, громяхают в своих изношенных пазах.

Наши тоже производят много шума, так как в старом доме хорошая акустика, а их надо передвинуть, по крайней мере, штук двадцать по длинным пазам, чтобы полностью огородить то подобие открытого рыночного павильона, в котором мы живем. Обычно эту домашнюю обязанность берет на себя Хризантема — и ей приходится очень трудно, она часто прищемляет пальцы и действует крайне неловко своими слишком маленькими ручками, в жизни не знавшими никакой работы.

Затем следует ее вечерний туалет. Не без некоторого изящества сбрасывает она с себя дневное платье, чтобы переодеться в другое, попроще, из синей материи, с такими же расширяющимися книзу рукавами, так же скроенное, но без шлейфа, и подпоясаться муслиновым поясом в тон.

Высокая прическа, разумеется, остается неприкосновенной, если не считать шпилек, которые вынимаются и спят рядом с нами в лаковой коробочке.

Затем имеется еще серебряная трубочка, которую надо выкурить перед сном — это один из моментов, выводящих меня из терпения, но совершенно неминуемых.

Хризантема, как цыганка, склоняется над некоей квадратной коробочкой красного дерева, содержащей маленькую табакерку, маленькую фарфоровую жаровню с постоянно тлеющими углями и, наконец, бамбуковую вазочку, чтобы высыпать пепел и сплевывать слюну. (Внизу, у госпожи Сливы, как и в других местах, у всех японцев и у всех японок, точно такие же курительные коробочки, содержащие те же самые и так же расположенные предметы, — и везде, и в богатых, и в бедных жилищах, они валяются на полу.)

Слово «трубка» слишком тривиально, а главное, слишком грубо для этой тоненькой прямой серебряной трубочки, завершающейся крошечной чашечкой, куда кладется всего одна щепотка светлого табака, нарезанного тоньше шелковых нитей.

Две затяжки, от силы три; это длится всего несколько секунд, и трубка кончается. А потом тук-тук-тук-тук — трубкой сильно стучат о бортик курительной коробки, чтобы выбить пепел, который всегда застревает; и этот стук, раздающийся повсюду, в каждом доме, в любое время дня и ночи, странный и быстрый, как обезьянье царпанье, в Японии относится к характерным звукам человеческой жизни...

— Аната, номимасэ! (Покури^[43] ты тоже!) — предлагает Хризантема.

И вновь набив невыносимую трубочку, она с поклоном подносит к моим губам серебряный мундштук — а я из вежливости не решаюсь отказаться; но вкус едкий, отвратительный...

А теперь, прежде чем лечь под темно-синюю сетку, я иду и открываю две панели — одну со стороны заброшенной тропинки и другую, выходящую на расположенные террасой сады, — чтобы открыть доступ ночному воздуху, рискуя при этом впустить новых запоздалых жуков и новых легкомысленных бабочек.

Наш дом, сделанный из старых тонких досок, резонирует по ночам, как большая сухая скрипка; самый легкий шорох здесь разрастается, искажается и начинает звучать тревожно. А

на веранде висят две небольшие эоловы арфы,^[44] и при малейшем дуновении стеклянные пластинки позвякивают друг о друга, напоминая мелодичное журчание ручейка; на улице из самых дальних далей доносится великая и вечная музыка цикад, а прямо над нами, на черной крыше, словно топот ведьм, гремит смертельная схватка кошек, крыс и сов...

Позднее, перед самым рассветом, Хризантема пойдет и потихоньку прикроет открытые мною панели — ведь рано-рано утром до нас дойдет свежий ветерок с моря, из глубокой бухты.

До этого она еще встанет по меньшей мере раза три, чтобы покурить: зевнув, как кошечка, потянувшись, покрутив во все стороны своими янтарными руками и крошечными изящными кистями, она решительно выпрямляется, весьма трогательно постанывает, словно просыпающееся дитя, затем вылезает из-под газового полога, набивает свою трубочку и два-три раза затягивается едким, неприятным дымом.

А потом тук-тук-тук-тук о коробку, чтобы вытрясти пепел. При ночной слышимости стук получается ужасно громкий — и, как и следовало ожидать, будит госпожу Сливу. И вот уже госпожа Слива, явно поддавшись внушению, тоже ощущает желание покурить; и тогда стуку наверху отвечает точно такое же тук-тук-тук-тук снизу, изводящее и неминуемое, словно эхо.

Утренняя музыка куда веселее: поют петухи; открываются деревянные панели по соседству; порой странно кричит какой-нибудь торговец фруктами, обегаящий на заре наше высокое предместье. И цикады, кажется, стрекочут громче, радуясь возвращению праздника света.

А главное, снизу через пол до нас доносится долгая молитва госпожи Сливы, монотонная, как пение сомнамбулы,^[45] однообразная и убаюкивающая, как журчание родника. Это длится по меньшей мере три четверти часа; на высоких нотах, быстро, гнусаво бубнится и бубнится молитва; время от времени, когда усталые духи перестают слушать, она сопровождается сухими хлопками в ладоши — или же слабыми ударами хлопущки, состоящей из двух дисков, сделанных из корня мандрагоры;^[46] прерывистым потоком льется молитва; неиссякаемое, беспрестанное бормотание, напоминающее бляение старой выжившей из ума козы...

«После омовения рук и ног, — повествуют священные книги, — люди взывают к великому богу^[47] Аматэрасу-о-миками, покровителю мощи Японской империи; люди взывают к манам^[48] всех усопших императоров, ведущих от него свой род; а потом и к манам всех его собственных предков, до самых далеких колен; к духам воздуха и моря; к духам потаенных и гадких мест; к загробным духам страны корней и т. д. и т. п...»

«Я чту тебя, о Аматэрасу-о-миками, покровитель державной мощи, и обращаюсь к тебе с мольбой, — выводит госпожа Слива. — Неустанно храни народ твой, готовый пожертвовать собой во имя родины. Дай мне стать такой же святой, как ты, и милостиво избавь меня от темных помыслов. Я слаба и грешна — так изгони мои слабости и грехи, как северный ветер гонит пыль в море. Омой меня добела от скверны, как омывают от грязи воды реки Камо. Окажи мне милость, сделай меня самой богатой женщиной на свете. Я верую в то, что свет твой разольется по всей земле и будет беспрестанно озарять ее ради моего блага. Окажи мне милость, позаботься о здоровье моей семьи, а главное, о моем здоровье, обо мне, почитающей только тебя, о Аматэрасу-о-миками, и поклоняющейся только тебе, и т. д. и т. п.»

Затем следуют все императоры, все духи и нескончаемый перечень предков.

Своим дрожащим старческим фальцетом госпожа Слива быстро-быстро, на одном дыхании, пропевает это все, ничего не пропуская.

Слушать это бывает очень странно; в конце начинает казаться, что это не человеческое пение, а череда магических формул, отделяющихся, отматывающихся от неистощимого свитка и теряющихся в воздухе. Благодаря самой своей странности и настойчивости заклинания все это рождает в моей еще сонной голове некое подобие религиозного впечатления.

И каждое утро я просыпаюсь под звуки этого синтоистского причитания, дрожащие под мною в восхитительно звучном воздухе летнего утра, — а между тем гаснут наши лампы перед улыбающимся Буддой, и вечное солнце, едва взойдя, уже струит свой свет сквозь щелочки в наших деревянных панелях, и его лучи пронизывают наше сумрачное жилище, наш темно-синий газовый полог, словно длинные золотые стрелы.

В этот момент и надо вставать, вприпрыжку бежать к морю по тропинкам, поросшим росистой травой, — и возвращаться на корабль.

Увы! Было время, меня будил крик муэдзина в мрачную зимнюю рань, там, в далеком великом Стамбуле...

Хризантема взяла с собой немного вещей, прекрасно зная, что брак наш будет недолгим.

Свои платья и красивые пояса она разместила в маленьких закрытых нишах, спрятанных в стене нашего жилища (в северной стене — единственной из четырех, которая не разбирается). Дверями для этих ниш служат панели из белой бумаги, полочки, внутренние отделения сделаны из тонко обработанного дерева и расположены так хитроумно, так замысловато, что невольно начинаешь опасаться двойного дна или какого-нибудь розыгрыша. К этому шкафу нет никакого доверия, и, когда кладешь туда вещи, смутно ощущаешь, что с него станется взять и заиграть их у вас.

Из вещей Хризантемы меня больше всего забавляет шкатулка для писем и воспоминаний — жестяная, английского производства, с цветным изображением какого-то завода в окрестностях Лондона на крышке. Естественно, для Хризантемы это экзотическое произведение искусства, драгоценная безделушка, которую она предпочитает всем своим очаровательным лаковым или инкрустированным шкатулкам. В ней есть все, что необходимо мусме для переписки: тушь, кисточка, серая очень тонкая бумага, нарезанная узкими длинными полосками, странные конверты, куда эта бумага убирается (после того, как ее сложат раз в тридцать), украшенные пейзажами, рыбками, крабами, птичками.

На лежащих там старых письмах, адресованных Хризантеме, я уже узнаю два иероглифа, обозначающие ее имя: «Кику-сан» (Хризантема госпожа). А когда я начинаю ее расспрашивать, она отвечает мне по-японски с видом серьезной женщины: «Дорогой, это письма от моих подруг».

Ох уж эти Хризантемины подруги! Ну и физиономии же у них! В той же шкатулке лежат их портреты; фотографии, наклеенные на визитные карточки, на обороте которых стоит имя Уэно, славного фотографа города Нагасаки: малышки словно рождены для того, чтобы мило позировать на фоне пейзажей, как на веерах, да еще постараться держаться как можно лучше, когда их затылок прижмут к подголовнику, сказав: «А теперь не двигаться!»

Забавно было бы почитать эти письма подружек — а особенно те, что писала в ответ моя мусме...

10 августа

Сегодня весь вечер льет дождь; темно и беспросветно. Около десяти, возвращаясь из одной модной чайной, где мы часто проводим время, мы с Ивом и Хризантемой подходим к знакомому углу главной улицы, к повороту, за которым кончаются огни и городской шум и начинаются темные лесенки и крутые тропинки, ведущие к нам в Дью-дзен-дзи.

Там, прежде чем начать подниматься, надо сначала купить фонарь у старой торговки, прозванной госпожой Чистюлей,^[49] у которой мы — постоянные клиенты. Этих бумажных фонариков, неизменно разукрашенных ночными бабочками или летучими мышами, у нас идет немислимое количество. В лавке их не сосчитать, они гроздьями висят на потолке, и старуха, завидев нас, лезет за ними на стол. Наши обычные цвета — серый и красный; госпожа Чистюля это знает и на зеленые и синие фонари не обращает внимания. Но отцепить один фонарик всегда бывает очень трудно, потому что палочки, за которые их держат, и ниточки, которыми они привязаны, путаются между собой. Более чем красноречивыми жестами госпожа Чистюля показывает, сколь сильно она сожалеет, что ей приходится вот так злоупотреблять нашим драгоценным временем: ох! если бы все зависело только от нее!.. Но эти перепутанные штуковины совершенно не умеют с уважением относиться к достоинству почтенных особ. Все это сопровождается множеством ужимок, она даже считает своим долгом грозить кулаком нераспутывающимся ниточкам, имеющим наглость нас задерживать. Ладно, эти уловки мы уже знаем наизусть. Это выводит из терпения не только старую даму, но и нас тоже. Засыпающую Хризантему охватывает приступ зевоты, и она начинает зевать подряд, как кошка, даже не давая себе труда прикрывать рот рукой. Ее личико вытягивается при мысли о крутом подъеме, который сейчас придется преодолевать под проливным дождем.

Меня, как и ее, это раздражает. Господи, чего ради каждый вечер карабкаться к этому предместью, если меня ничего не связывает с домиком наверху?..

Страшный ливень; как нам быть?.. За окном проносятся быстрые дзины с криками «Поберегись!», обдавая брызгами прохожих и оставляя за собой в сплошном потоке дождя яркие следы от разноцветных фонариков. Проходят мимо мусме и пожилые дамы, с задранными подолами, грязные и все же смеющиеся под своими бумажными зонтиками, кланяющиеся друг другу и цокающие по камням деревянными башмаками; только и слышно на улице что стук деревянных каблуков и шелест дождя.

К счастью, мимо пробегает и номер 415, наш бедный родственник, который, видя наше бедственное положение, останавливается и обещает разрешить наше затруднение: ему только прежде надо отвезти на набережную своего пассажира — англичанина, и он сразу же вернется нас выручать, захватив все необходимое.

Наконец наш фонарь отцеплен, зажжен, оплачен. Напротив есть еще одна лавочка, где мы останавливаемся каждый вечер, — у госпожи Час,^[50] торговли вафлями; мы всегда отовариваемся у нее, чтобы было чем поддержать себя в пути. Та всегда старается с нами пококлетничать; за своими стопками пирожных, украшенных маленькими букетиками, она как виньетка с ширмы. Ладно, эта кондитерша необычайно мила, оживленна, мы спрячемся под ее крышей и подождем — а поскольку по водостокам льет как из ведра, прижмемся поближе к витрине с белыми и розовыми конфетами, искусно развешанными на тоненьких, свежих веточках кипариса.

Бедный 415-й номер, сам Бог нам его послал! Этот замечательный кузен уже возвращается

— всегда с улыбкой, всегда бегом, не обращая внимания на воду, ручьями текущую по его красивым голым ногам, — и несет нам два зонтика, позаимствованные у одного торговца фарфором, тоже нашего дальнего родственника. Ив, как и я, никогда в жизни не пользовался подобным предметом, но на этот раз соглашается — уж больно чудные эти зонтики: разумеется, бумажные, с навощенными, клейкими складками и с неизменными аистами, летающими по кругу друг за другом.

Хризантема, зевающая все чаще и чаще, как обычно по-кошачьи, и ведущая себя как кошечка, чтобы заставить себя тащить, пытается взять меня под руку.

— Знаешь, мусме, а что, если тебе сегодня попросить об этой услуге Ива-сан? Я уверен, что это устроит всех троих.

И вот малютка повисла на великане, и они ползут вверх. Я же возглавляю шествие и несу фонарь, освещающий нам путь, старательно оберегая пламя под моим экстравагантным зонтом.

По обе стороны дороги слышится рев бегущего потока — это несется с горы грозовая вода. Дорога нынче кажется нам длинной, трудной, скользкой, а лестницы бесконечными. Сады, дома, громоздящиеся друг над другом; пустыри, деревья, стряхивающие воду в темноте прямо нам на голову.

Кажется, что Нагасаки поднимается вместе с нами, но только там, вдалеке, в какой-то дымке, словно светящейся под чернотой неба; над городом стоит смутный шум голосов, колес, гонгов и смеха.

В воздухе от этого летнего дождя пока не посвежело. Из-за грозовой жары домики нашего предместья оставлены открытыми, словно ангары, и нам видно все, что там происходит. Перед домашними Буддами и алтарями предков всегда горят лампы; но все уважающие себя японцы уже легли спать. Видно, как они лежат рядами, семьями под традиционными пологами из синезеленого газа; они или спят, или отгоняют комаров, или обмахиваются веером — японцы, японки и японские детки возле своих родителей; и у всех, молодых и старых, темно-синяя ситцевая ночная рубашка и маленькая деревянная подставочка, на которой покоится затылок.

В редких домах еще продолжается веселье: откуда-то издалека, поверх темных садов, до нас долетают звуки гитары: какой-то танец с непонятным ритмом, печальный самой своей веселостью.

Вот и колодец, окруженный бамбуком, у которого мы обычно останавливаемся по ночам, чтобы дать передохнуть Хризантеме. Ив просит меня направить на колодец красный луч моего фонарика, дабы удостовериться, что это именно он: для нас это отметка середины пути.

А вот наконец-то и наш дом! Дверь заперта; темнота и глубокая тишина. Все наши панели закрыты стараниями господина Сахара и госпожи Сливы; дождевая вода ручьями стекает по доскам наших старых черных стен.

В такую погоду нельзя допустить, чтобы Ив снова спускался и бродил вдоль берега, пытаясь нанять сампан. Нет, сегодня он не вернется на борт; мы уложим его у себя. Да и вообще, условиями найма для него предусмотрена комнатка, и мы сейчас быстренько ее соорудим, хотя он и отказывается из скромности. Словом, войдем в дом, разуемся, отряхнемся, как кошки, попавшие под ливень, и поднимемся в наши апартаменты.

Перед Буддой горят лампы; посреди комнаты натянут темно-синий полог. Когдаходишь, первое впечатление самое благоприятное: как мило выглядит сегодня наше жилище; эта тишина и поздний час поистине придают ему что-то таинственное. Да и потом, в такую погоду всегда приятно вернуться домой...

Ну, теперь быстренько займемся комнатой Ива. Хризантема, оживившаяся при мысли, что ее большой друг будет спать рядом с ней, старается изо всех сил; впрочем, надо всего лишь передвинуть три-четыре бумажные панели, и сразу же получится отдельная комната, ячейка в

большой коробке, где мы живем. Я думал, эти панели целиком белые, — оказывается, нет! На каждой серой краской нарисована группа из двух аистов в позах, освященных традицией в японском искусстве: один гордо поднимает голову и благородно поджимает ногу, а другой чешется. Ох уж эти аисты! Как же они действуют на нервы, когда поживешь в Японии хотя бы месяц!..

Но вот Ив улегся и спит под нашей крышей.

Сегодня он заснул быстрее, чем я: а дело в том, что я, кажется, заметил долгие взгляды, устремленные от Хризантемы к нему и от него к Хризантеме.

Я даю ему поиграть с малышкой, и теперь у меня возникает опасение, не смутил ли я его рассудок. До японки мне нет дела. Но Ив... с его стороны это было бы нехорошо и сильно подорвало бы мое доверие к нему...

Слышно, как дождь стучит по нашей старой крыше; цикады молчат; от садов и от горы исходят запахи мокрой земли. Сегодня в этом жилище мне отчаянно скучно; стук трубочки раздражает меня больше, чем обычно, и, когда Хризантема склоняется над своей курительной коробкой, мне кажется, что вид у нее плебейский, [\[51\]](#) в худшем смысле этого слова.

Я возненавижу мою мусме, если она склонит Ива к дурному поступку, который я, может быть, никогда уже не смогу ему простить...

12 августа

Вчера развелись супруги Y*** и Сику-сан. У Шарля N*** с Колокольчиком дела идут неважно. У них возникли затруднения с маленькими человечками в тиковых ^[52] костюмах, невыносимыми, назойливыми, везде сующими свой нос и являющимися агентами полиции; молодоженов выгнали из дому, запугав хозяйку (под любезностью и подобострастием этого народа кроется глубокая ненависть к нам, европейцам); и тем приходится пользоваться гостеприимством тещи — положение весьма удручающее. К тому же Шарль N*** полагает, что его обманывают. Впрочем, не стоит обольщаться: партии, подобранные для нас господином Кенгуру, — это, так сказать, полудевушки, малютки, уже имевшие в своей жизни один, а то и два романа. Так что, естественно, особенно доверять им не стоит...

Чета Z*** и Туки-сан перебивается кое-как, со ссорами.

Мой семейный очаг выглядит пока более достойным, но не менее скучным. Мысль о разводе приходила мне в голову; но я не вижу достаточных оснований, чтобы подвергнуть такому унижению Хризантему, а главное, меня остановило еще одно обстоятельство: у меня тоже возникли недоразумения с гражданскими властями.

Позавчера ко мне, словно ураган, влетели чрезвычайно взволнованный господин Сахар, госпожа Слива в полуобморочном состоянии и рыдающая мадемуазель Оюки. К ним приходили японские полицейские и всячески угрожали за то, что те поселили у себя, вне европейской концессии, француза, вступившего в морганатический брак ^[53] с японкой, — и теперь они страшно боятся преследований; смиренно и обходительно они просили меня уехать.

На следующий день я в сопровождении необыкновенно высокого друга, изысканного лучше меня, отправился в контору по актам гражданского состояния, намереваясь устроить там страшный скандал.

В языке этого вежливого народа совершенно нет ругательств; как ни разгневан человек, ему приходится довольствоваться уничижительным обращением на ты и разговорным спряжением, как это принято в языке всякого сброда. И вот я сажусь на стол, за которым заключаются браки, перед ошарашенными чинушами, и начинаю свою речь в следующих выражениях:

— Какую взятку надо тебе дать, ничтожное отродье, более низкое, чем уличные носильщики, чтобы ты оставило меня в покое в предместье, где я живу?

Великое немое потрясение, ошалелая тишина, поклоны в пояс.

Ну, разумеется, говорят они наконец, мою уважаемую особу оставят в покое; о лучшем они и мечтать не смеют. Только, подчиняясь законам этой страны, я должен был явиться к ним сюда и сообщить свое имя, равно как и имя молодой особы, с которой...

— Ну это, знаете, уж слишком! Я же специально приходил, стадо баранов, еще и трех недель не прошло!

И я сам хватаю журнал записей актов гражданского состояния, листаю, нахожу нужную страницу, свою подпись, а рядышком — маленькую закорючку Хризантемы:

— Ну что, ослиная братия, смотри!

Появляется высокое начальство — маленький смешной старичок в черном сюртуке, который слышал всю сцену из своего кабинета:

— В чем дело? Что происходит? Чем так оскорблены французские офицеры?

В более вежливых выражениях я излагаю ситуацию этому субъекту, который рассыпается в обещаниях и извинениях. Все мелкие чинуши падают на четвереньки, стелются по земле, а мы

досто́йно и невозму́тимо уходим прочь, не попрощавшись.

Господин Сахар и госпожа Слива могут спать спокойно — больше их не потревожат.

23 августа

Под предлогом того, что «Победоносная» стоит в доке и до города нам далеко, я уже два или три дня не хожу к Хризантеме в Дью-дзен-дзи.

Но и в доке, надо сказать, очень скучно. С самой зари на нас наступает целый легион маленьких японских рабочих, несущих свой обед в корзинках и флягах, совсем как во французских военных портах; но есть в них что-то жалкое, убогое, и, глядя, как они рыщут и суетятся, невольно вспоминаешь крыс. Поначалу они проникают бесшумно, просачиваются незаметно, а потом вдруг оказываются повсюду — под килем, в трюме, в каждом закоулке — и пилят, стучат, починяют.

Из-за нависающих скал и буйной растительности в этих краях всегда очень жарко.

Под палящим послеполуденным солнцем начинается нашествие еще более странное и более живописное: нас атакуют скарабеи и бабочки.

Бабочки диковинные, как на веерах. Есть среди них совсем черные, натыкающиеся на нас по рассеянности, такие легкие, что кажется, будто большие трепещущие крылья соединяются вместе без тела.

Ив удивленно смотрит на них.

— Ого! — говорит он, сразу становясь похожим на ребенка. — Я сейчас такую большую видел... такую большую, что прямо даже испугался; я подумал, что это летучая мышь.

Наш рулевой поймал совершенно особенный экземпляр и бережно несет его к себе, чтобы засушить в справочнике по сигналам, как обычно сушат цветы.

Поравнявшись с ним, другой матрос, несущий котелок со скудным обедом, смотрит на него с недоумением:

— Слушай, ты бы лучше мне ее дал... Я бы ее сварил!

24 августа

Вот уже почти пять дней, как я забросил свой домишко и Хризантему.

Со вчерашнего дня — жуткий ветер и проливной дождь. (Видимо, приближается или уже подошел тайфун.) Мы поднялись по тревоге среди ночи, чтобы закрепить стены, [\[54\]](#) спустить нижние реи, принять все меры в преддверии непогоды. Бабочки больше не прилетают, но сам воздух у нас над головой кружит и вьется; на склонах нависающих гор под страшными шквалами свистящего ветра гнутся истерзанные деревья, стелется, словно от боли, трава; на нас дождем сыплются ветки, бамбуковые листья, комья земли.

И вот в этой стране изящных мелочей раздражается буря; ее сила кажется преувеличенной, ее музыка — чересчур громкой.

К вечеру огромные черные тучи несутся так быстро, что ливни становятся короткими, — ветер уносит дождь. И тогда я делаю попытку подняться в горы, погулять среди мокрых деревьев: туда ведут маленькие тропинки, пробирающиеся сквозь заросли камелий и бамбука.

...Чтобы переждать очередной ливень, я прячусь во дворе очень старого храма, затерявшегося где-то на середине склона среди вековых деревьев с гигантскими кронами; подниматься туда надо по гранитной лестнице, проходящей под странными портиками, изъеденными, как Великие Кельтские Камни. [\[55\]](#) Двор тоже зарос деревьями; там царит зеленоватый полумрак; дождь льет как из ведра, вперемешку с листьями и вырванным мхом. По углам сидят старые гранитные чудовища неизвестной породы и встречают путника свирепой полуулыбкой; в их чертах запечатлены безымянные тайны, от которых при этой стонущей музыке ветра, в этом сумраке туч и ветвей по коже пробегает озноб.

Вряд ли люди, придумавшие все эти древние храмы, воздвигшие их повсюду, застроившие ими всю страну вплоть до самых уединенных уголков, походили на нынешних японцев.

Час спустя, когда день разбушевавшегося тайфуна стал клониться к вечеру, я случайно, бродя все по той же горе, оказался под деревьями, похожими на дубы; их по-прежнему гнул и терзал ветер, а кустики травы у их подножия извивались и металась по земле во все стороны... И тут внезапно я совершенно отчетливо вспомнил свое первое впечатление от сильного ветра в лесу — в Лимуазском лесу в Сентонже, каких-нибудь двадцать восемь лет тому назад, в один из мартов моего раннего детства.

Этот первый порыв ветра, увиденный мною за городом, дул по другую сторону земного шара — и быстрые годы заслонили собой это воспоминание, — и самые погожие дни моей жизни превратились в прах...

Я слишком часто возвращаюсь к моему детству; я снова и снова твержу одно и то же. Но мне кажется, что только в те времена были у меня впечатления и ощущения; любая мелочь, которую я видел или слышал, имела тогда под собой неисчерпаемую, бесконечную глубину; это были словно разбуженные образы, отзвуки прежних жизней или же предчувствия жизней грядущих, будущих перевоплощений в стране грез; а еще — ожидание всевозможных чудес, которые мир и жизнь, наверное, приберегли для меня на потом — когда вырасту. Так вот, я вырос и не встретил на своем пути ничего из смутно угаданного тогда; наоборот, все вокруг меня понемногу съезжилось и поблекло; далекие воспоминания истерлись, простиравшиеся передо мной горизонты потихоньку скрылись из виду, заволоклись серым сумраком. Вскоре настанет час возвращаться в извечную пыль, и я уйду, так и не поняв таинственную суть миражей моего детства; я унесу с собой сожаление о неведомых родинах, которых я так и не

обрел, о неведомых существах, которых я страстно желал, но так и не смог заключить в объятия...

Господин Сахар, с необыкновенным изяществом окуная кончик тоненькой кисточки в тушь, нарисовал на листке рисовой бумаги двух прелестных аистов и подарил их мне самым любезнейшим образом на память о себе. Вот они здесь, в моей каюте, и, стоит мне взглянуть на них, я так и вижу рисующего господина Сахара, его поднятую руку и элегантную непринужденность движений.

Стаканчик, в котором господин Сахар разводит тушь, сам по себе настоящее произведение искусства. Из цельного нефрита выточено небольшое озеро, а шероховатый бортик сделан наподобие скалистых берегов. По этому бортику идет маленькая мама-жаба, тоже из нефрита, идет искупаться в озерце, где господин Сахар держит несколько капелек черной жидкости. А у мамы-жабы четверо маленьких детенышей, тоже из нефрита, один забрался ей на голову, трое других резвятся под ее брюхом.

Господин Сахар нарисовал за свою жизнь много аистов и достиг величайшего мастерства в изображении групп, если можно так выразиться, дуэтов этого вида птиц. Мало кто из японцев обладает талантом столь быстро и столь изысканно воплощать этот сюжет: сначала два клюва, потом четыре ноги; затем спины, перья — чирк, чирк, чирк, — дюжина штрихов проворной кисточкой, ведомой прелестно изогнутой рукой, — и готово, причем все всегда получается!

Господин Кенгуру рассказывает, не находя, впрочем, в этом ничего предосудительного, что некогда талант господина Сахара сильно помог ему в жизни. Дело в том, что госпожа Слива вроде бы... о Боже! как же это сказать... кто бы мог подумать сейчас, видя эту старую даму, такую набожную, так хорошо умеющую держаться, с такими аккуратно выбритыми бровями... — так вот, госпожа Слива вроде бы в свое время принимала много господ — господ, всегда приходивших по одному, — что давало основание полагать... В общем, когда у госпожи Сливы был посетитель, а тем временем приходил новый господин, ее находчивый муж, дабы занять внимание гостя, заставить его немного подождать, задержать его в прихожей, сразу же принимался рисовать для него нескольких аистов в разных позах...

Вот как случилось, что все живущие в Нагасаки японские господа определенного возраста имеют в своей коллекции две-три подобные картинки, которыми они обязаны столь тонкому и столь оригинальному таланту господина Сахара.

Воскресенье 25 августа

Около шести вечера, во время моей вахты, «Победоносная» покидает свою вырыгую среди гор тюрьму, выходит из дока. Страшный шум при маневрировании, и мы бросаем якорь на рейде, на нашем старом месте, у подножия холмов Дью-дзен-дзи. Погода снова хорошая, тихо, ни одного облачка; выметенное тайфуном небо как-то особенно чисто, чересчур прозрачно, так что можно издали различить мельчайшие детали, которых никогда раньше видно не было, словно могучий ураган унес даже самую легкую дымку, блуждавшую в воздухе, и не оставил ничего, кроме глубокой и светлой пустоты. А оттенки зеленого цвета лесов и гор после этих дождей стали по-весеннему сочными, посвежели, подобно тому как, переливаясь, сияет мокрым блеском свежeweымытая краска. Сампаны и джонки, три дня остававшиеся без движения, направляются в открытое море; вся бухта покрыта их белыми парусами; можно подумать, стая морских птиц собирается взмыть ввысь, отправляясь в дальний перелет.

В восемь часов, когда стемнело и закончилось маневрирование, мы с Ивом садимся в сампан; на сей раз это он тянет меня за собой, хочет отвезти домой.

На суше приятный запах мокрого сена. Восхитительный лунный свет на горных тропах. Мы поднимаемся прямо в Дью-дзен-дзи к Хризантеме, и я почти раскаиваюсь, хоть и не подаю виду, что так надолго оставил ее одну.

Взглянув вверх, я еще издали узнаю свой примостившийся в вышине домишко. Там все открыто, очень много света, играют на гитаре. Вот уже я различаю золотую голову моего Будды между двумя огоньками, поблескивающими в подвесных лампадах. А потом показывается и Хризантема на веранде — типично японский силуэт, прелестно убранные волосы, длинные ниспадающие рукава, — сидит облокотившись, будто нас ждет.

Когда я вхожу, она подходит поцеловать меня, несколько неуверенно, но мило, в то время как более экспансивная Оюки бросается мне на шею.

И я не без удовольствия обвожу взором это японское жилище, о существовании которого я почти забыл и которое, как ни странно, по-прежнему остается моим. Хризантема поставила в наши вазы новые красивые цветы; она сделала более объемную прическу, как на праздник, надела свое самое красивое платье, зажгла лампы. Увидав с балкона, как выходит «Победоносная», она надеялась, что теперь мы наконец вернемся, и, завершив все приготовления, стала разучивать с Оюки дуэт для двух гитар, чтобы как-то занять часы ожидания. Ни вопросов, ни упреков. Наоборот.

— Мы сразу поняли, — говорит она, — в такую жуткую погоду плыть на сампане через бухту...

Она улыбается, как довольная маленькая девочка, и, по правде говоря, нужно быть привередой, чтобы не найти ее хорошенькой в этот момент.

Ну ладно, я объявляю, что сейчас мы не мешкая спустимся вниз и отправимся гулять по Нагасаки; мы возьмем с собой Оюки-сан, двух находящихся здесь двоюродных сестричек Хризантемы и других соседок, если захотят; мы купим самых забавных игрушек, будем есть всевозможные сласти и повеселимся вволю.

— Как же мы вовремя, — говорят они, прыгая от радости, — ну просто как нельзя кстати! В большом храме Прыгающей черепахи сейчас как раз ночное паломничество! Там будет весь город; все женатые приятели только что туда отправились, вся компания X*, Y*, Z*, Туки-сан, Колокольчик и Нарцисс, вместе с неправдоподобно высоким другом. А они, бедненькие,

Хризантема и Оюки-сан, остались дома, им было так тяжело, но ведь нас не было, а у госпожи Сливы после ужина случился обморок...

Мусме быстренько прихорашиваются. Хризантема уже готова. Оюки спешно переодевается, облачается в серое платье, просит меня расправить пышный бант на ее красивом поясе — из черного атласа, с ярко-оранжевой подкладкой — и укрепляет высоко в волосах серебряный помпон. Мы зажигаем свои фонарики на палочках; господин Сахар благодарит за дочь, благодарит бесконечно долго, провожает нас, падает на четвереньки на пороге, — и мы весьма весело удаляемся в прозрачную, нежную ночь.

Действительно, внизу, в городе, царит праздничное оживление. На улицах полно народу; идет толпа — смеющийся, своенравный, медлительный, неравномерный поток, всей своей массой текущий в одном направлении, к единой цели. От него исходит гул голосов, несмолкаемый, но легкий, из которого особенно выделяются смех и тихий обмен любезностями. Фонари, фонари... В жизни не видел столько фонарей, причем таких пестрых, таких замысловатых и необычных.

Словно дрейфуя, движемся мы вперед, увлекаемые этим потоком. Нам попадаются группы женщин всех возрастов в нарядных туалетах; особенно много мусме, просто не счесть, и все с букетиками цветов или серебряными помпонами, как у Оюки, в волосах: мордочки смазливенькие, глазки раскосенькие, как у новорожденных котят, щечки кругленькие и бледненькие, слегка подрагивающие возле уголков приоткрытых губ. И все же славненькие они, эти японочки, со своим детским выражением лица и улыбкой. Что же касается мужчин, много попадается котелков, для пущей важности надеваемых с длинным национальным платьем и с успехом довершающих веселое уродство ученых обезьян. В руках они держат ветки, а то и целые кусты, с которых вперемешку с листвой свисают самые несуразные фонари в форме чертиков или птиц.

По мере приближения к храму улицы становятся все более многолюдными, все более шумными. Теперь вдоль домов тянутся бесконечные прилавки: конфеты всех цветов радуги, игрушки, цветущие ветки, букеты, маски. Особенно много масок: целые ящики, целые тележки; наиболее часто встречается посвященная рисовому богу маска белой лисицы, с мертвенно-бледной хитрой мордой, искаженной зловещей ухмылкой, большими прямыми ушами и острыми зубами. Есть здесь и другие символические изображения богов и чудовищ, все бледные, с судорожными гримасами, настоящими волосами и настоящей шерстью. Некоторые, и даже дети, покупают этих чудищ и надевают себе на лицо. А еще продаются всевозможные музыкальные инструменты; много хрустальных труб с тем странным звуком, причем на сей раз колоссальных размеров — в длину метра два, не меньше; звук, который они издают, просто ни на что не похож; кажется, гигантские индюки клохчут в толпе, чтобы распугать людей.

Нам не дано проникнуть в полную тайн подноготную религиозных увеселений этого народа; нам не дано понять, где кончается шутка и начинается мистический ужас. Происхождение обычаев, символов, образов, всего того, что традиционно, из поколения в поколение, намешано в японском мозгу, скрыто от нас непроницаемым мраком: даже самые старые книги могут дать этому лишь очень поверхностное, неубедительное объяснение: потому что мы не такие, как они. Так толком ничего и не поняв, проходим мы среди их веселья и смеха, не имеющих ничего общего с нашим весельем и нашим смехом...

Мы продолжаем двигаться вперед вместе с толпой, держась за руки попарно, чтобы не потеряться, — Хризантема с Ивом, я с Оюки, а наши двоюродные сестрички Клубника и Цинния впереди, под нашим присмотром.

Вдоль всех улиц, ведущих к храму, богатые люди выставили в своих домах целые ряды ваз и букетов. Форма ангара, которую имеют все жилые дома в этой стране, что-то вроде

ярмарочной витрины или эстрады, очень подходит для такой демонстрации хрупких вещей: все оставлено открытым, а внутри натянуто полотно, скрывающее внутреннее убранство жилища; на фоне этой обычно белой драпировки и чуть поодаль от проходящей толпы аккуратно расставлены демонстрируемые предметы, ярко освещенные подвесными лампами. В букетах почти нет цветов — одни только листья — среди них есть хрупкие, редкие, диковинные, другие же как будто специально выбраны из самых распространенных, но расположены с таким искусством, что получается нечто новое, рафинированное: примитивные листья салата и капусты принимают нарочито изысканные позы в великолепных сосудах. Все вазы бронзовые, но рисунок на них бесконечно разнообразен, фантазия художника не знает границ; одни украшены сложным, вычурным узором; другие — и таких большинство — утонченно просты, но простота эта настолько продуманная, что для нас она — как откровение о неведомом, опрокидывающее все наши представления о форме...

На повороте дороги нам страшно повезло и мы встретили наших женатых товарищей с «Победоносной» со всеми Нарциссами, Туки-сан и Колокольчиками! Приветствия, поклоны мусме; взаимные изъявления радости встречи; а потом, образовав тесную компанию, увлекаемую вперед все нарастающей толпой, мы продолжаем медленно двигаться к храму.

Улицы тянутся вверх по склону (ведь храмы всегда расположены на возвышениях), и, по мере того как мы поднимаемся, к феерии фонарей и костюмов добавляется еще одно волшебное зрелище, далекое, синеватое, подернутое дымкой: Нагасаки, со всеми своими пагодами, горами и дремлющими водами, вобравшими в себя лунный свет, поднимается вверх вместе с нами. Медленно, шаг за шагом, если можно так выразиться, вокруг нас возникает колоссальная полупрозрачная декорация, обволакивающая первый план с порхающими красными огоньками и разноцветными флажками.

Видимо, мы приближаемся: уже показались огромные гранитные плиты, храмовые лестницы, портики, чудовища. Теперь нам предстоит преодолеть множество ступеней, почти полностью отдав себя во власть поднимающегося вместе с нами потока верующих.

Двор храма — мы у цели.

Нам открылась последняя и самая удивительная картина из феерии этого вечера — картина светящаяся и объемная, с фантастическими далями, залитыми лунным светом, и все это под сенью гигантских деревьев — священных криптомерий,^[56] куполом простирающих свои черные ветви.

И вот мы все, вместе с нашими мусме, сели под украшенным цветочной гирляндой навесом одной из многочисленных маленьких чайных, временно обосновавшихся в этом дворе. Терраса, где мы сидим, расположена над большими лестницами, по которым продолжает стекаться народ; мы же оказались у подножия портика, монолитной глыбой возвышающегося у нас над головой и со всей тяжеловесной непреклонностью колосса устремленного в ночное небо; и одновременно у подножия чудовища, сверху вниз обратившего на нас взгляд своих больших каменных глаз, свою свирепую гримасу и смех.

Портик и чудовище — это два больших, всеподавляющих предмета первого плана немислимой декорации праздника; какая-то головокружительная дерзость есть в том, как вырисовываются они на фоне всего расплывчато голубого, пепельного, всего, что там, внизу, что есть даль, воздух, пустота; за ними с птичьего полета открывается вид на Нагасаки, еле-еле проступающий сквозь прозрачную мглу мириадами разноцветных огоньков; а на фоне звездного неба намечается утрированно изломанный контур горных вершин: синеватое на синеватом, дымчатое на дымчатом.

А еще очень высоко, очень смутно, очень бледно виден уголок бухты, похожий на парящее в облаках озеро, и догадаться, что там вода, можно лишь по отражению лунного света, из-за

которого водная гладь сияет, как серебристая скатерть.

Вокруг нас все так же квохчут длинные хрустальные грубы. Слово фантазмагорические тени, снуют мимо нас группы вежливых и легкомысленных людей, детские стайки мусме с узенькими глазками, сама невзрачность улыбки которых поражает своей свежестью, а прекрасные полосы блестят под букетиками серебряных цветов. Прогуливаются здесь и отменно безобразные мужчины, держащие в руках ветки с фонарями в форме птиц, богов, насекомых.

За нами — храм, ярко освещенный, открытый; в искрящихся золотом святилищах, населенных божествами, химерами и символами, торжественными группами неподвижно восседают бонзы. Вокруг с однообразными переливами смеха и молитв теснится толпа народу, щедрой рукой кидающая пожертвования; с несмолкающим звоном падает на землю мелочь, падает в отсек, отведенный духовенству, где белые циновки полностью скрылись под слоем монет всевозможной величины, словно после серебряно-бронзового ливня.

И мы стоим здесь, стоим, чувствуя себя чем-то инородным, смотрим, смеемся, раз надо смеяться; говорим какой-то невнятный вздор на не вполне освоенном языке, который в этот вечер, в необъяснимом замешательстве, мы уже даже не понимаем. Под нашим навесом очень жарко, хотя он и кольшется от ночного бриза; мы пьем из маленьких чашечек странный шербет, напоминающий ароматизированный иней или цветы в снегу. Мусме наши заказали себе по большой чашке засахаренной фасоли, перемешанной с градом — с самыми настоящими градинками, будто собранными после мартовского ливня.

Из хрустальных труб доносится медленное «глу-глу-глу» — звук вроде бы сильный, но идет с трудом, словно его заглушает вода. Повсюду жужжат и резко тарахтят разного вида трещотки. Создается впечатление, что и нас подхватил порыв этого непостижимого веселья, к которому примешивается — и мы даже не можем оценить, в какой степени, — что-то мистическое, что-то детское и зловещее одновременно. Какой-то священный ужас исходит от идолов, которых мы угадываем за своей спиной в храме, от смутно улавливаемых молитв — и особенно от белых лисьих голов из лакированного дерева, скрывающих порой под собой лица проходящих людей, — от этих ужасных мертвенно-бледных масок...

В садах и на прилегающих к храму территориях расположились невообразимые цирковые балаганчики, и их разрисованные белыми иероглифами черные флажки на гигантских шестах плещутся на ветру, словно украшения катафалка. Подождав, пока наши мусме завершат поклонение святыням и бросят пожертвования, мы всей толпой отправляемся туда.

В одном из этих ярмарочных барачков посреди пустой сцены на столе лежит на спине мужчина. Из его живота возникают марионетки почти в человеческий рост с жуткими косоглазыми масками; они разговаривают, жестикулируют — а потом вдруг обмякают, валятся, словно пустые тряпочки; и снова резко поднимаются, будто на пружине, меняют костюмы, меняют лица, бьются в нескончаемом исступлении... В какие-то моменты их бывает три, а то и четыре одновременно: это четыре конечности лежащего человека, его поднятые вверх руки и ноги, каждая из которых имеет свое платье, свой парик, свою маску. Между этими призраками разыгрываются сцены, идут ожесточенные сабельные бои.

Особенно устрашающе выглядит марионетка старой женщины с плоской физиономией и замогильным хохотом; каждый раз при ее появлении свет ламп тускнеет; в оркестре слышится что-то вроде зловещего стона флейт, сопровождаемого дребезжанием трещоток, напоминающим бряцанье костей друг о друга. Разумеется, у этого персонажа в пьесе отвратительная роль, наверное, какая-нибудь старуха вампирша, злая и кровожадная. Самое ужасное в ней — это ее тень, нарочито четко вырисовывающаяся на белом заднике; непонятно, как это делается, но тень, повторяющая все движения марионетки, как самая настоящая тень, воспроизводит очертания волка. В какой-то момент старуха оборачивается, обращает к зрителю

свое безносое лицо, принимая протянутую ей чашку с рисом; тогда на заднике виден вытянутый профиль волка, с торчащими ушами, отвислыми губами, зубами и высунутым языком. Оркестр тихонько скрипит, стонет, вздрагивает — а потом раздражается похоронными звуками, словно стая сов; а дело в том, что старуха начинает есть, и тень волка тоже ест, двигает челюстями, грызет другую тень, узнать которую нетрудно — это рука младенца.

Затем мы идем смотреть на большую японскую саламандру^[57] — животное, в этой стране редкое, а в других местах земного шара и вовсе неизвестное, жирную холодную массу, медлительную и сонную, которая кажется пробой допотопного времени, случайно забытой во внутренних водах этого архипелага.

Потом — ученый слон, которого наши мусме боятся; потом эквилибристы, зверинец...

Только в час ночи возвращаемся мы к себе, в Дью-дзен-дзи.

Сначала мы укладываем Ива в его маленькой бумажной комнате, где он уже однажды ночевал. Потом ложимся сами, после ритуальных приготовлений, маленькой трубочки и неперемного «тук-тук-тук-тук» о бортик коробки.

Но вдруг Ив во сне начинает метаться, бить ногами по перегородке, ужасно шуметь.

Что же это с ним такое?.. Я воображаю, что ему снится старуха с тенью волка. Удивление отражается на лице Хризантемы, она приподнимается на локте, прислушивается...

Вдруг — озарение; она поняла, что его мучит:

— Ка! (Комары!), — говорит она.

И, чтобы я лучше понял, о каком насекомом идет речь, она сильно щиплет меня за руку своими острыми ногтями и корчит при этом уморительную гримасу, имитирующую выражение лица укушенного человека...

— Но, право же, Хризантема, вся эта мимика совершенно ни к чему! — Я давно знаю слово «ка», я отлично все понял, уверяю тебя...

Все это было сделано так быстро, так забавно, с такой славной миной, что у меня и в мыслях не было всерьез рассердиться, — хотя завтра, я уверен, у меня будет синяк.

Ладно, надо вставать и идти выручать Ива, нельзя же, чтобы он и дальше вот так тарабанил. Пойдем посмотрим с фонарем, что там с ним приключилось.

Это и в самом деле комары. Комары со всего дома и сада собрались вместе и, гудя, тучей летают над ним. Возмущенная Хризантема кидается жечь их пламенем своей лампы, а мне указывает на тех, что облепили белую бумагу стен: «У-у!»

Он же, устав за день, продолжает спать, хотя, конечно, и беспокойно. Хризантема трясет его, чтобы взять к нам, под нашу синюю сетку.

Он вяло уступает, встает, слегка капризная, как большой непроснувшийся ребенок, и идет за нами — мне же, в общем-то, нечего возразить против такого спанья втроем: то, что мы разделяем, так мало похоже на кровать, и спим мы одетые, как всегда, по японскому обычаю. Разве в дороге, в поезде достойнейшие дамы не укладываются спать без всякой дурной мысли в присутствии случайных господ?

Вот только Хризантемину подставочку для головы я водрузил в середине газовой палатки, между нашими двумя подушками, чтобы понаблюдать за реакцией.

Она же с большим достоинством, ничего не говоря, как будто исправляя нарушение этикета, допущенное мною по ошибке, убирает ее и кладет на ее место мой барабан из змеиной кожи: таким образом, я буду лежать посередине, между ними. Так и в самом деле правильнее. Ох! Это решительно хорошо — а Хризантема отлично умеет себя вести...

...На другой день в семь часов, возвращаясь на корабль под яркими лучами утреннего солнца, мы шагаем по росистым тропкам вместе с гурьбой маленьких совершенно уморительных мусме шести — восьми лет, направляющихся в школу.

Цикады, разумеется, провожают нас своей славной музыкой. В горах хорошо пахнет. Свежесть воздуха, свежесть света, детская свежесть этих маленьких девочек в длинных платьях с прекрасно уложенными волосами. Свежесть травы и цветов, по которым мы ступаем, усеянных капельками воды... Как же вечно прелестны, даже в Японии, эти сельские утра, эти утра человеческой жизни...

Впрочем, я признаю обаяние японских детишек; среди них есть просто очаровательные. Но как же так получается, что это их обаяние так быстро превращается в старческую гримасу, в улыбочное безобразие, в мордочку обезьяны?..

Садик госпожи Лютик — моей тещи, — бесспорно, одно из самых унылых мест, которые мне довелось встретить во время моих странствий по свету.

Ох! До чего же медленно тянутся и как сильно действуют на нервы эти серые часы, отдаваемые банальным, невнятным разговорам за едой варенья с перцем в крошечных чашечках, на веранде, тускло освещенной светом из садика! И этот зажатый между стенами в самом центре города парк в четыре квадратных метра, с маленькими озерцами, маленькими горами и маленькими скалами; и этот зеленоватый налет дряхлости, бородастая плесень на всем, что никогда не видало солнечных лучей.

Правда, этому микроскопическому воспроизведению дикого уголка не откажешь в чувстве природной естественности. Скалы хорошо расположены. Карликовые кедры, ростом не выше капусты, простирают над долиной свои узловатые ветви с видом утомленных веками гигантов, и при виде этих больших деревьев происходит обман зрения, нарушается перспектива. Когда из темной глубины дома смотришь с некоторого расстояния на этот относительно освещенный пейзаж, почти спрашиваешь себя, правда ли он искусственный, или же ты сам — игрушка какой-то болезненной иллюзии, а это настоящая природа, увиденная расстроенным, по-особенному сфокусированным глазом или же в перевернутый бинокль.

Для человека, имеющего представление о японских обычаях, сам интерьер дома моей тещи говорит о рафинированности хозяйки — совершенная пустота; две-три ширмочки в разных местах, чайник, ваза с плавающими в ней лотосами; больше ничего. Деревянная обшивка не покрашена и не покрыта лаком, зато вычурно жеманная ажурная резьба выполнена потрясающе тонко и белизна свежей сосны поддерживается частым мытьем с мылом. Деревянные столбы, на которых держится кровля, порождены изобретательнейшей в мире фантазией: одни имеют совершенно четкую геометрическую форму; другие искусственно вывернуты, словно стволы деревьев, обвитые лианами. Повсюду — тайнички, нишки, шкафчики, самым хитроумным и неожиданным образом спрятанные в девственном однообразии белых бумажных панелей.

Я улыбаюсь про себя, вспоминая так называемые японские гостиные, заставленные безделушками и увешанные привезенной с Востока грубой вышивкой золотом по атласу, которые я видел у парижских красавиц. Я советую им приехать посмотреть, как выглядят здесь дома людей со вкусом, приехать посетить пустынные белые залы дворца Эдо.^[58] Во Франции произведения искусства существуют, чтобы ими наслаждаться; здесь же, как следует рассортировав, их прячут в своего рода таинственных подземных апартаментах за железной решеткой, называемых годун. Только в редких случаях, желая оказать уважение какому-нибудь особенно почтенному гостю, хозяин может открыть это недосягаемое место. Скрупулезная, чрезмерная чистота; белые циновки, белое дерево; крайняя внешняя простота целого и немислимая прихотливость в мельчайших деталях — таково японское представление о роскоши внутреннего убранства.

Моя теща действительно кажется мне замечательной женщиной. Если бы не неодолимая тоска, навеваемая на меня ее садиком, я бы часто приходил к ней. Ничего общего с мамами Нарцисса, Колокольчика или Туки; намного лучше всего этого; да и потом, следы былой красоты; весьма приятные манеры. Я заинтригован ее прошлым, но в моем положении зря неудобно слишком далеко заходить с расспросами.

Кое-кто поговаривает, что она бывшая гейша, некогда имевшая большой успех в Эдо, но утратившая благосклонность модной публики, ибо легкомысленно позволила себе стать

матерью. Этим можно было бы объяснить талант ее дочери в игре на гитаре: видимо, она сама привила ей технику и манеру исполнения, даваемые в консерватории.

...После Хризантемы (старшей дочери и первой причины заката славы) моя теща, натура экспансивная, хотя и благовоспитанная, еще семь раз совершила ту же ошибку: в результате у меня две маленькие свояченицы — мадемуазель Снег^[59] и мадемуазель Луна^[60] — и пять маленьких шуринов — Вишня, Голубь, Вьюнок, Золото и Бамбук.

Малышу Бамбуку четыре года; кругленький желтенький ребенок с прекрасными горящими глазами; ласковый и веселый, засыпает сразу же, как только перестает смеяться. Из всей моей японской семьи я больше всех люблю этого Бамбука...

Вторник 27 августа

Целый день четыре быстроногих дзина таскали нас с Ивом, Хризантемой и Оюки по мрачным и пыльным кварталам, где мы искали у старьевщиков предметы старины.

Ближе к заходу солнца Хризантема, наскучившая мне за этот день больше обычного и, видимо, заметившая это, надолго надувает губки, сказывается больной и просит разрешения переночевать на этот раз у своей матери, госпожи Лютик.

Я всем сердцем приветствую это; пусть моя мусме идет куда хочет! Оюки предупредит родителей, и они закроют нашу комнату; мы же с Ивом сможем весь вечер бродить где вздумается, не таская за собой никаких мусме, а потом вернемся ночевать к себе на «Победоносную», и нам не придется карабкаться вверх по склону.

Сначала мы делаем попытку поужинать в какой-нибудь модной чайной. Бесполезно: нигде нет мест; все бумажные апартаменты, все отделения с выдвижными ширмами и всякими выкрутасами, все закутки садиков заполнены японцами и японками, поедающими невообразимые крошечные кушанья; много молодых щеголей, развлекающихся в дамском обществе; в отдельных кабинетах музыка, танцовщицы.

Дело в том, что сегодня третий и последний день великого паломничества к храму Прыгающей черепахи, начало которого мы видели позавчера, — а потому весь Нагасаки веселится.

В чайной Неописуемых бабочек, переполненной, как и все остальные, но где нас, к счастью, знают, над маленьким озерцом, над водоемом с красными рыбками, придумано что-то вроде плавучей платформы — там-то нам и подадут ужин в приятной свежести струящейся воды, продолжающей журчать у нас под ногами.

После ужина мы пристраиваемся к верующим и поднимаемся к храму.

Там, наверху, все та же феерия, те же маски, та же музыка. Как и позавчера, мы садимся под одним из навесов и пьем причудливые маленькие шербеты^[61] с цветочными ароматами. Но на сей раз мы одни, и без привычной гурьбы наших милых мусме, которые были связующим звеном между этим веселящимся народом и нами, мы чувствуем себя еще более чужими, одинокими и как будто потерянными посреди всего этого разгула странностей. Внизу по-прежнему простирается голубоватая декорация: Нагасаки в лунном свете, серебристая гладь воды, кажущаяся туманным видением, повисшим в пустоте. А за нами — большой открытый храм, где под звон священных бубенцов и трещоток совершают богослужение бонзы — с того места, где мы сидим, они кажутся маленькими марионетками, — одни чинно сидят в ряд, как безмятежные мумии, другие ритмично вышагивают перед той сделанной из чистого золота глубиной храма, где обитают боги. Пораженные больше, чем в первую ночь, мы на сей раз уже не смеемся и мало говорим; только смотрим, пытаюсь понять...

Вдруг Ив оборачивается и говорит:

— Брат!.. Ваша мусме!..

И действительно, за спиной у него — Хризантема, почти на самой земле, спрятанная между лапами большого гранитного зверя, полутигра-полусобаки, за которого держится наш хрупкий навес.

— Она, как котенок, потянула меня ноготками за штанину, — говорит чрезвычайно заинтригованный Ив, — ну прямо как котенок!

Согнувшись в три погибели, она распростерлась в смиренном поклоне; она робко

улыбается, боясь, что ее плохо встретят, а из-за ее головы выглядывает также улыбающаяся физиономия моего маленького шурина Бамбука. Она принесла верхом на спине этого маленького муско^[62] как всегда уморительного со своей выбритой макушкой, длинным платьем и шелковым поясом, завязанным большим бантом. Оба смотрят на нас волнуясь, как будет воспринята их выходка.

Боже, у меня нет ни малейшего желания встретить их сурово; наоборот, их появление забавляет меня. Я даже нахожу, что со стороны Хризантемы очень мило вот так вернуться, да еще догадаться взять с собой на праздник Бамбука-сан, хотя, по правде говоря, в том, чтобы носить его, привязав за спину, как носят своих детей бедные японки, есть что-то простонародное...

Ладно, пусть садится между Ивом и мною; и пусть ей подадут ее любимую фасоль со льдинками. А маленького хорошенького муско мы посадим к себе на колени, пусть сколько угодно лакомится конфетами и сахаром.

Когда вечер подходит к концу и надо уходить, спускаться обратно в город, Хризантема снова взваливает на спину своего маленького Бамбука и отправляется в путь, согбенная под тяжестью ноши, с трудом передвигая по гранитным ступеням и плитам свои деревянные, как у Золушки, башмаки... Да, вид и в самом деле простонародный, но в самом лучшем смысле слова; в этом нет ничего, что бы мне не нравилось; я даже нахожу, что в своей привязанности к Бамбуку-сан Хризантема очень естественна и привлекательна.

Впрочем, в одном японцам не откажешь: это в любви к маленьким детям и умении их занимать, смешить, придумывать для них всякие забавные игрушки, дать познать радость на заре жизни; существует целая наука, как их причесывать, наряжать, как сделать их внешность возможно более смешной. Единственное, что мне нравится в этой стране, это дети и то, как их умеют здесь понимать...

По дороге мы встречаем женатых друзей с «Победоносной», которые очень удивляются при виде меня с муско и отпускают в мой адрес всякие шуточки:

— У вас что, уже сын?

Внизу, в городе, мы вроде как прощаемся с Хризантемой на углу улицы, ведущей к ее матери. Она улыбается в нерешительности, говорит, что ей лучше, и просит вернуться к нам, наверх. Должен признаться, это не входило в мои планы... Но грех было бы отказаться. Ладно! Занесем муско к маме и снова начнем мучительный подъем при свете какого-нибудь нового фонарика, купленного у госпожи Чистюли.

Но вот еще одно приключение: малыш Бамбук заявляет, что пойдет с нами! Он хочет, чтобы мы непременно взяли его с собой. Ну это уже ни на что не похоже и совершенно недопустимо!..

Хотя... нельзя же, чтобы муско плакал в праздничный вечер... Что ж, пошлем предупредить госпожу Лютик, чтобы она не волновалась, и, так как на тропинках Дью-дзен-дзи уже не будет никого, кто стал бы издеваться над нами, мы с Ивом по очереди понесем его на спине, пока не закончится ночное восхождение...

А я-то не хотел сегодня подниматься по этой дороге, волоча за руку мусме, и вот в довершение всего у меня еще и муско на спине... Что за ирония судьбы!

Дома, как я и ожидал, все закрыто и заперто; нас не ждут, придется стучать в дверь. Хризантема принимается кричать изо всех сил:

— О! Уме-Сан-ан-ан-ан! (По-французски: «Эй! Госпожа Сли-и-и-и-ва!»)

Я и не знал, что ее голосок может выдавать такие переливы; в ее протяжном зове, звонко прозвучавшем в полуночной темноте, есть что-то такое чужое, неожиданное, странное, что у меня возникает ощущение далекого и безнадежного изгнания...

Наконец на пороге появляется госпожа Слива, заспанная, взволнованная, с пышным хлопчатобумажным ночным тюрбаном на голове, где на синем фоне резвятся несколько белых аистов. Кончиками пальцев испуганно и грациозно держа длинный стержень своего фонарика в цветочек, она разглядывает нас по очереди, дабы удостовериться, что это именно мы, и не может прийти в себя, бедняжка, при виде муско у меня на закорках...

Раньше я охотно слушал, как Хризантема играет на гитаре; теперь я начинаю любить и ее пение.

Ничего от театральной манеры и неестественно низкого голоса виртуозов; наоборот, ее ноты, всегда очень высокие, нежны, трогательны, жалобны.

Часто, сочинив или вспомнив какой-нибудь протяжный, непонятный романс, она разучивает его с Оюки. И я удивляюсь, слушая, как они раскладывают на две партии аккомпанемент на своих созвучных гитарах и каждый раз, уловив малейшую неточность звука, останавливаются, никогда не путаясь в этой странной, диссонансной, всегда печальной гармонии.

Пока они играют, я чаще всего пишу, устроившись на веранде перед великолепной панорамой. Пишу я на полу, сидя на циновке и опираясь на маленький японский пюпитр, украшенный рельефными кузнечиками; пишу тушью; чернильница у меня такая же, как у моего хозяина, из нефрита, с симпатичными жабами и жабытами на бортике. И пишу я, в общем-то, мемуары, — совсем как господин Сахар там, внизу!.. Иногда мне кажется, что я на него похож, и мысль эта мне очень неприятна...

Мемуары, состоящие из одних лишь несурзных деталей; мельчайшие подробности цвета, формы, запаха, звука.

Правда, на моем однообразном горизонте, похоже, занимается заря целого запутанного романа; среди этого мирка мусме и цикад как будто вот-вот завяжется настоящая интрига: Хризантема влюблена в Ива; Ив в Хризантему; Оюки в меня; я — ни в кого... Будь мы в какой-нибудь другой стране, здесь был бы даже материал для большой братоубийственной драмы; но мы в Японии, где сама среда смягчает, уменьшает, делает смешным и нелепым все вокруг, а потому из всего этого абсолютно ничего не выйдет.

В Нагасаки есть такое время суток, которое еще смешнее остальных: это вечер, часов пять-шесть. В этот час все раздеваются догола — дети, молодежь, старики, старухи и садятся в глиняные сосуды принимать ванну. Делается это где угодно, без всякой завесы, в саду, во дворе, в лавке и даже в дверях, чтобы удобнее было переговариваться через улицу с соседями. В таком положении даже принимают гостей; хозяин без колебаний вылезает из чана, держа в руках маленькое неизменно синее полотенце, чтобы усадить пришедшего и радостно перемолвиться с ним.

Надо сказать, мусме (как и старые дамы) совершенно не выигрывают, появляясь в таком виде. Японка, лишенная своего длинного платья и широкого пояса с тщательно вывязанным бантом, оказывается всего лишь крошечным желтым созданием с кривыми ногами и худосочным, грушевидным бюстом; ничего не остается от ее своеобразного искусственного обаяния, бесследно исчезающего вместе с одеждой.

А есть час одновременно радостный и печальный — когда сгущаются сумерки и небо кажется большой желтой пеленой, на фоне которой выделяются контуры гор и высоких пагод. В этот час внизу, в лабиринте узких сереньких улочек внутри всегда открытых домов загораются священные лампадки перед алтарями предков и домашних Будд, — а тем временем снаружи все постепенно окутывается мраком и тысячи старых крыш черной зубчатой гирляндой вырисовываются на фоне светло-золотистого неба. В этот момент над смешливой Японией проносится ощущение чего-то мрачного, странного, древнего, дикого, ощущение невыразимое и — грустное. А оживление — единственное оживление в этот час — вносит гурия ребяташек, маленьких муско и мусме, возвращающихся из мастерских и школ и, как река, растекающихся по сумрачным улицам. На фоне темных деревянных построек еще ярче кажутся их затейливо пестрые, затейливо подоткнутые синие и красные платьица, великолепные узлы на поясах, цветы, серебряные и золотые помпоны, украшающие младенческие пучки.

Они резвятся и гоняются друг за другом, размахивая широкими рукавами, — совсем маленькие мусме, десятилетние, пятилетние, а то и меньше, но уже носящие высокие прически и внушительные яйцеобразные пучки, как настоящие дамы. О прелестные, уморительные куколочки, вприпрыжку скачущие по улицам в этот сумрачный час, дующие в хрустальные трубы или же со всех ног несущиеся запускать немислимых воздушных змеев... Весь этот японский мирок, от рождения эксцентричный и призванный стать еще более эксцентричным с течением лет, вступает в жизнь ни на что не похожими развлечениями и странными криками; в его игрушках есть что-то зловещее, их испугались бы дети из другой страны; у его змеев большие раскосые глаза, и похожи они на вампиров...

И каждый вечер на маленькие темные улочки выплескивается это свежее, детское, но уж слишком своеобразное веселье. Трудно вообразить, сколько немислимых предметов иной раз плещется на ветру в воздухе...

Эта малютка Хризантема всегда одета в темное, что является здесь признаком поистине хорошего тона. В то время как ее подружки, Оюки-сан, госпожа Туки и прочие охотно носят пестрые ткани и водружают поверх причесок яркие помпоны, она одевается в темно-синее или нейтрально серое, подпоясывается широкими черными поясами, вытканными неброским рисунком, и никогда ничего не втыкает в волосы, кроме светлых черепаховых шпилек. Если бы она была из благородной семьи, она носила бы на спине вышитый на платье белый кружок, напоминающий штемпель, с каким-нибудь рисунком посередине — обычно это лист дерева: и это был бы ее герб. В самом деле, маленький геральдический символ на спине — это единственное, чего ей не хватает, чтобы выглядеть очень почтенной женщиной.

(В Японии прекрасные светлые платья с тончайшими переливами, расшитые серебряными или золотыми химерами, благородные дамы надевают только у себя дома в некоторых очень торжественных случаях; а так их носят актрисы, танцовщицы, девицы.)

Как все японки, Хризантема хранит разные вещи внутри своих длинных рукавов, где спрятаны карманы.

Она кладет туда письма, всевозможные записки на тонких листках рисовой бумаги, написанные бонзами молитвы-амулеты, а главное, огромное количество квадратиков из шелковистой бумаги, которым она находит самое неожиданное применение: обтереть чайную чашку, или взять в руки мокрый стебель цветка, или при случае вы сморкать свой маленький смешной носик. (После упомянутой процедуры она сразу же комкает использованный кусочек, скатывает его в шарик и с отвращением бросает в окно...)

Так сморкаются в Японии самые знатные особы.

2 сентября

По воле случая нам довелось завязать совершенно особенную, редкую дружбу — мы подружились с главными бонзами того самого храма Прыгающей черепахи, где в прошлом месяце торжественно проходило столь удивительное паломничество.

Подступы к этому месту теперь столь же пустынно, сколь были многолюдны в те праздничные вечера; поразительно, что все эти святыни, в темноте казавшиеся живыми, при свете дня выглядят ветхими и мертвыми. И никого на гранитных ступенях, изъеденных временем; никого под величественными портиками, краски и позолота которых поблекла под слоем пыли. Чтобы добраться туда, нужно пройти несколько безлюдных дворов, один над другим возвышающихся по склону горы, несколько торжественных ворот и много-много ступеней, все выше и выше уводящих от города, от людского шума в священную зону с бесчисленными надгробиями. На всех плитах, на всех стенах — лишайники и постенница; и повсюду, словно слой пепла, серый налет древности.

В первом боковом храме на цветке лотоса восседает гигантский Будда — позолоченный идол, метров пятнадцати — двадцати высотой, взгроможденный на огромный бронзовый пьедестал.

Наконец дорога подводит к последнему портику, перед которым справа и слева, как принято, возвышаются два колосса, охраняющие священную галерею; каждый из них, словно дикий зверь, заключен в железную клетку. Вид у них свирепый, кулак занесен для удара, лицо ухмыляющееся и устрашающее. Их тела утыканы шариками из папье-маше, которые попали в них сквозь прутья решетки и приклеились к их чудовищным телам наподобие белой проказы: так верующие посылают им, дабы их усмирить, молитвы, написанные набожными бонзами на тонких листках бумаги. Пройдя между этими пугалами, человек попадает в последний двор. По правую руку от него — жилище наших друзей, а прямо перед глазами — большой зал пагоды.

В этом вымощенном плитами дворе — бронзовые светильники, высокие, как башни. Вековые саговники^[63] со свежими пучками зеленых перьев, чьи расходящиеся стволы тяжеломерно симметричны, словно рожки массивных канделябров. Храм, полностью открытый по всему фасаду, глубок и мрачен, приглушенный блеск его золотых недр теряется в беспросветной глубине. В самой отдаленной его части расположены сидящие идолы, и снаружи можно смутно различить их сосредоточенные позы и молитвенно сложенные руки; а впереди — алтари, на которых стоят великолепные металлические вазы с устремленными ввысь стройными букетами из золотых или серебряных лотосов. Уже при входе ощущается сладкий запах благовонных палочек, которые священнослужители постоянно жгут перед ликами богов.

К нашим друзьям бонзам — по правую руку от входа — всегда трудно попасть.

Над их дверью на железных цепях висит чудовище из класса рыб, но с когтями и рогами; при малейшем дуновении ветра оно со скрипом покачивается. Мы проходим под ним и оказываемся в первом зале, высоком, огромном, едва освещенном, где по углам поблескивают позолоченные идолы, колокольчики и разные непонятные предметы культа.

Навстречу выходят какие-то служки или певчие и с малогостеприимным видом спрашивают, что нам угодно.

— Мацу-сан!! Доната-сан!! — очень удивленно повторяют они, когда мы объясняем, к кому именно хотим попасть. — О нет! Их никак нельзя увидеть: они отдыхают — или же погружены в созерцание. Оримас! Оримас! — говорят они, складывая руки и имитируя

колени преклоненную молитву, чтобы пояснить свои слова. (Они молятся! Истово молятся!)

Мы настаиваем, говорим громче; разуваемся, как люди, твердо решившие войти, невзирая ни на что.

Наконец Мацу-сан и Доната-сан сами выходят из безмятежных глубин обители бонз. Одеты они в черный газ, голова выбрита. Приветливо, с улыбкой, рассыпаясь в извинениях, они протягивают вам руку, и вы идете за ними, босиком, как и они, в глубь их таинственного жилища, через анфиладу пустых апартаментов, устланных циновками несравненной белизны. Следующие один за другим залы отделены друг от друга только изысканно тонкими бамбуковыми шторами, подвязанными витыми шнурами с кистями из красного шелка.

Внутри вся отделка выполнена из того же дерева цвета свежего масла, обработанного с необычайной точностью, без малейшего украшения, без малейшего рельефа; все выглядит новым, нетронутым, будто никогда не знавшим прикосновения человеческой руки. Время от времени в этой нарочитой пустоте попадает изысканная скамеечка с удивительной инкрустацией, на которой стоит сокровищница или ваза с цветами; на стенах висят несколько мастерских набросков, нечетко нарисованных тушью на полосках серой бумаги, обрезанной очень аккуратно, но не оправленной ни в какую рамку; и больше ничего; ни сидений, ни подушек, ни мебели. Это верх нарочитой простоты, изысканности, извлеченной из пустоты, непорочной и неправдоподобной чистоты.

И пока находишься там, пока идешь за бонзами по этим анфиладам пустынных залов, говоришь себе, что у нас, во Франции, слишком много побрякушек; появляется какое-то предубеждение против излишества, загроможденности.

Место, где останавливается вся эта безмолвная процессия разутых людей и где мы наконец усаживаемся в тени и прохладе, оказывается внутренней верандой, выходящей на рукотворный ландшафт, напоминающий дно колодца; это садик величиной с подземный каземат, со всех сторон теснимый всеподавляющей горой и получающий сверху лишь призрачные лучи приглушенного дневного света. И тем не менее этот миниатюрный садик оформлен под большое дикое ущелье; там виднеются пещеры, отвесные скалы, поток, водопад и острова. У деревьев, превращенных в карликовые сугубо японским и неведомым нам способом, на узловатых, обескровленных ветвях растут крошечные листочки. Общий зеленоватый колорит древности завершает гармонию этого, несомненно, многовекового пейзажа.

В прохладной воде плавают косяки красных рыбок, а маленькие черепашки (возможно, прыгающие) спят на гранитных островках, имеющих тот же самый оттенок, что и черепашки серые панцири.

И даже голубые стрекозы рискуют иногда спуститься туда неведомо откуда и, слегка подрагивая крыльями, садятся на крохотные кувшинки.

Наши друзья бонзы, несмотря на некоторую слащавость, свойственную духовным лицам, охотно смеются, причем очень славным смехом; упитанные, пухленькие, бритоголовые, они ничего не чураются и отдают должное нашим французским ликерам.

Мы беседуем о разных вещах. Под мирный шум их маленького водопадика я рискую произносить при них фразы на ученом японском и пытаюсь употреблять сослагательное и повелительное наклонения. Не прерывая беседы, они занимаются церковными делами, раздают подчиненным им окрестным пагодам распоряжения по богослужению, запечатанные сложными печатями, или же маленькие целебные молитвы, начертанные кисточками, которые предстоит скатать в шарик и съесть далеким больным. Своими нежными пухлыми ручками они, как женщины, обмахиваются веером, а после того, как мы отведаем разных местных напитков с цветочными маслами, велят подать под конец бутылку бенедиктина [\[64\]](#) или шартрез, [\[65\]](#) так как высоко ценят эти ликеры, изготовленные их западными коллегами.

...В их большом храме бывают очень красивые религиозные церемонии, и мы теперь туда вхожи. Под звуки гонга двадцать — тридцать служителей храма в парадных одеяниях совершают ритуальное шествие перед идолами, опускаются на колени, бьют в ладоши, замысловато перемещаясь то в одну, то в другую сторону, будто выполняя фигуры какой-то мистической кадрили...

И все же... Сколь бы ни было сумрачно и необъятно святилище, сколь бы ни были великолепны идолы, ничто в Японии не может достичь истинного величия. Все таит под собой непоправимое убожество и желание расхохотаться.

А потом, нам мешают сосредоточиться прихожане, среди которых мы встречаем знакомых: иногда мою тещу или какую-нибудь кузину, или же торговку фарфором, продавшую нам вазу накануне. Маленькие хорошенькие мусме, старые обезьяноподобные дамы, и все со своими курительными коробочками, с размалеванными зонтиками, возгласами, поклонами; они кудахчут, верещат, расточают комплименты, подпрыгивают и всеми силами стараются сохранять серьезность.

3 сентября

Сегодня Хризантема впервые пришла ко мне на корабль в сопровождении госпожи Сливы вместе с моей самой молоденькой свояченицей мадемуазель Снег. Выглядели дамы очень респектабельно.

У меня в каюте есть большой Будда, восседающий на троне, а перед ним стоит лаковый поднос, куда мой верный матрос складывает все мелкие монетки, затерявшиеся в карманах моей одежды. Госпожа Слива, склонная к мистицизму, решила, что перед ней настоящий алтарь, и самым серьезным образом обратилась к Богу с краткой молитвой; затем она потянулась к кошельку (как водится, привязанному за спиной к пышному поясу вместе с кисетом и трубочкой) и с поклоном положила на поднос свою скромную лепту.

На протяжении всего визита дамы вели себя очень достойно. Но под конец Хризантема, ни за что не хотевшая уходить, не повидавшись с Ивом, попросила позвать его с какой-то особенной, плохо скрываемой настойчивостью. Ив же, придя, был с ней очень нежен — настолько, что на сей раз я всерьез забеспокоился; и я спросил себя, а что, если эта весьма жалкая развязка, которой до сих пор я смутно опасался, все-таки произойдет в ближайшее время...

4 сентября

Сегодня в одном старом вымершем квартале я встретил изысканнейшую мусме в восхитительном наряде, необыкновенно свежую на темном фоне развалин.

Это было на окраине Нагасаки, в самой старой части города. В этом районе растут вековые деревья и высятся старинные храмы, посвященные Будде, или Амиде,^[66] или Бэnten,^[67] или Каннон,^[68] с величавыми высокими крышами; в исполненных тишины дворах, где между плитами пробивается трава, восседают гранитные чудовища. Через весь этот пустынный квартал протекает узкая речка с высокими берегами, а через нее перекинута горбатая мостика с изъеденными лишайниками гранитными перилами. И во всем этом — та же композиция, та же странная гримаса, что и в самой древней японской живописи.

Я проходил там в полуденный зной и не встретил ни души — только через открытые окна обитателей бонз можно было видеть редких священнослужителей, хранителей святилищ или надгробий, отдыхающих под своими темно-синими газовыми пологами.

И вдруг передо мной возникла эта мусме — чуть выше меня по склону, на изгибе ландшафта, на одном из замшелых седых мостиков; на самом солнце, ярко освещенная, словно ослепительная фея на фоне старых храмов и теней. Одной рукой она поддерживала платье, так что оно прилегало снизу к ее ногам и делало еще более стройным весь ее облик. Ее круглый зонтик с тысячью складок, насквозь пронизываемый лучами солнца, образовывал вокруг ее странной головки большой сине-красный с черным контуром ореол; а рядом с ней раскинул ветви выросший среди камней моста цветущий олеандр, тоже залитый светом. Все, что было позади девушки и цветущего олеандра, тонуло во мраке.

На ее симпатичном красном с синим зонтике из больших белых иероглифов была составлена обычная для мусме надпись, смысл которой мне уже объяснили: «Остановитесь, облака, посмотрите, как она идет». И действительно, стоило остановиться, чтобы увидеть эту изысканную маленькую особу, идеальное выражение всего японского.

Впрочем, главное было не задерживаться слишком долго и не дать себя провести; это была бы еще одна иллюзия. Разумеется, она такая же куколка, как и все остальные, куколка с этажерки и ничего более. Глядя на нее, я даже сказал себе, что Хризантема, покажись она на том же самом месте, в таком же платье, при том же освещении и с тем же солнечным нимбом, произвела бы столь же чарующее впечатление.

Ведь Хризантема очень мила, с этим уже не поспоришь... Помню, вчера вечером я ею залюбовался. Было темно; мы, в сопровождении семеек вроде нашей, возвращались с обычной прогулки по чайным и базарам. В то время как остальные мусме шагали, взявшись за руки, потряхивая новенькими, только что выпрошенными серебряными помпонами и играя безделушками, она, сказавшись усталой, следовала за нами, полулежа в экипаже дзина. По обе стороны от нее мы пристроили большие букеты цветов, которым предстояло заполнить сегодня наши вазы, — поздние ирисы и лотосы на длинном стебле, последние в этом сезоне и уже пахнущие осенью. И было приятно смотреть на эту японку, лениво возлегающую посреди водяных цветов в своей повозке в переменчивом освещении разноцветных бликов от движущихся нам навстречу фонариков. Если бы перед моим приездом в Японию мне показали бы ее и сказали: «Вот эта мусме будет твоею», — я, без сомнения, был бы очарован. В действительности же никакого очарования: это всего лишь Хризантема, такая же, как всегда, и ничего более, маленькое смешное созданище, жеманное и внешне, и в мыслях своих, мусме,

которую я получил через агентство Кенгуру...

У нас в доме вода для питья, приготовления чая и обычного умывания хранится в белых фарфоровых тазах, расписанных голубыми рыбками, уносимыми быстрым течением в гущу разметававшихся водорослей. А чтобы вода была попрохладнее, тазы стоят на самом ветру, на крыше госпожи Сливы, так что их легко достать, протянув руку с нашего выступающего балкона. На редкость удачное место для всех мучимых жаждой окрестных кошек; прекрасными летними ночами этот уголок крыши, где стоят наши расписные тазы, становится для них излюбленным местом встреч под луною, после любовных походов или долгих одиноких сидений на крыше.

Когда Ив впервые захотел попить этой воды, я счел своим долгом предупредить его.

— Ну что вы! — ответил он удивленно. — Кошки! Да разве они грязные?

В этом мы с Хризантемой с ним согласны; мы находим, что кошки — животные с чистыми губами, и не гнушаемся пить после них.

Хризантема для Ива тоже «не грязная», и он охотно пьет после нее из ее маленькой чашечки, тем самым по признаку чистоты губ относя ее к разряду кошек.

Так вот, эти самые фарфоровые тазики — одна из величайших повседневных забот в нашем хозяйстве: вечно там нет воды по вечерам, когда мы возвращаемся с прогулки и так хочется пить после подъема и вафель госпожи Час, которые мы всю дорогу ели от нечего делать. Невозможно добиться, чтобы госпожа Слива, или мадемуазель Оюки, или их молоденькая служанка мадемуазель Дэдэ^[69] позаботились наполнить тазы, пока светло. А когда мы возвращаемся поздно, все три дамы уже спят, и мы вынуждены заниматься этим сами.

То есть надо снова открыть все запертые двери, обуться и спуститься в сад за водой.

А поскольку Хризантема умирала от страха одна среди деревьев, в темноте, под стрекот насекомых, я чувствую себя обязанным идти к колодцу вместе с нею.

Для этого мероприятия нам необходим свет; значит, надо поискать в коллекции фонариков, купленных у госпожи Чистюли, которые из ночи в ночь скапливаются в глубине одного из наших бумажных шкафчиков: и у всех кончились свечки — я так и знал! Ладно, значит, надо не раздумывая взять первый попавшийся и насадить новую свечу на торчащий внутри железный штырь: Хризантема старается изо всех сил; свеча трескается, ломается; мусме колет пальцы, надувает губки и хнычет... Неизбежная ежевечерняя сцена, которая на добрых четверть часа отдалает момент укладывания под темно-синий газовый полог, а между тем цикады с крыши оглашают округу своим самым насмешливым стрекотанием...

И все это, что с другой — любимой, — может быть, показалось бы забавным, с нею изрядно меня раздражает...

11 сентября

Прошло восемь вполне мирных дней, за которые я ничего не написал. Кажется, я понемногу привыкаю к убранству моего японского дома, к странностям языка, костюмов, лиц. Вот уже три недели не приходят Бог весть где затерявшиеся письма из Европы, и это, как всегда, помогает прошлому затянуться легкой пеленой забвения.

Итак, каждый вечер я прилежно поднимаюсь домой, то прекрасными звездными ночами, а то под грозовым ливнем. А каждое утро, когда в гулком воздухе разносится монотонная молитва госпожи Сливы, я просыпаюсь и спускаюсь обратно к морю по привычным тропинкам, по траве, усеянной свежей росой.

Я думаю, поиск разных безделушек — это самое большое развлечение в японской стороне. В маленьких антикварных лавочках вы усаживаетесь на циновки, чтобы попить чаю вместе с торговцем, а потом сами роетесь в шкафах и сундуках, где свалено на редкость диковинное старье.

Весьма сомнительный торг длится зачастую по несколько дней и воспринимается с юмором, словно люди захотели разыграть друг для друга славный маленький фарс...

Я заметил, что злоупотребляю прилагательным маленький; но что делать? Чтобы что-то описать в этой стране, хочется употреблять его по десять раз в одной строчке. Маленький, жеманный, манерный — Япония телом и душой целиком умещается в этих трех словах...

Все, что я покупаю, скапливается наверху, в моем домике из дерева и бумаги; впрочем, он выглядел куда более японским в своей первозданной наготе, каким задумали его господин Сахар и госпожа Слива. А теперь здесь несколько ламп ритуальной формы, свисающих с потолка; много скамеечек, много ваз; а богов и богинь прямо как в пагоде.

Есть здесь даже маленький синтоистский алтарь, перед которым госпожа Слива не могла не пасть ниц и не затянуть молитву дрожащим, как у старой козы, голосом:

«Омой меня добела от моих прегрешений, о Амагэра-су-о-миками, как омывают грязные вещи в реке Камо...»

Бедная Амагэрасу-о-миками! Какая тяжкая и неблагодарная работа, отмывать госпожу Сливу от прегрешений!!

Хризантема, будучи буддисткой, молится иногда по вечерам перед сном, одолеваемая усталостью; хлопая в ладоши, она молится перед самым большим из наших золоченых идолов. Но потом, сразу после молитвы, на ее лице появляется улыбка, которая кажется детской насмешкой над Буддой. Я знаю, что она чтит и своих хотокэ (духов предков), ^[70] которым посвящен весьма пышный алтарь в доме ее матери, госпожи Лютик. Она просит у них благословения, богатства, мудрости...

И кто там разберет, что думает она о богах, о смерти? Есть ли у нее душа? Как она себе это представляет?.. Ее религия — это тонуций во мраке хаос старых как мир мифологий, сохранных из уважения к очень древним вещам, и более новых идей о конечном блаженном ничто, принесенных из Индии в эпоху нашего средневековья китайскими миссионерами. Сами бонзы теряются во всем этом — так что же получится, если это перемешать с детской непосредственностью и птичьим легкомыслием в головке засыпающей мусме?..

Две незначительные вещи немного привязали меня к ней (не так-то просто в конце концов не почувствовать некоторое сближение). Прежде всего вот что.

Однажды госпожа Слива захотела показать нам реликвию своей любвеобильной молодости

— светлый, на редкость прозрачный черепаховый гребень; один из тех, что считается хорошим тоном водружать поверх пучка, почти не втыкая в волосы, так что зубчики видны, а гребень словно держится сам по себе. Она вынула его из хорошенькой лаковой шкатулки и кончиками пальцев подняла на высоту глаз, прищурившись, чтобы посмотреть через него на небо — прекрасное летнее небо, — как делают, желая убедиться в чистоте драгоценного камня.

— Вот эту дорогую вещь, — сказала она мне, — тебе следовало бы подарить жене.

А тем временем моя мусме чрезвычайно увлеченно любовалась прозрачностью материала и изяществом формы гребня.

Мне же больше всего нравилась лаковая шкатулка. На крышке была удивительная роспись золотом по золоту, крупным планом изображавшая поверхность рисового поля в ветреный день: частые колосья и луговая трава клонятся и приникают к земле под жутким порывом ветра; то там, то здесь между истерзанными стебельками проглядывает размокшая земля; видны даже маленькие лужицы — островки прозрачного лака, в которых плавают крошечные частички золота, словно соломинки в мутной жиже; два или три насекомых, разглядеть которых можно только в микроскоп, в ужасе цепляются за тростинки, — и вся картина едва ли больше женской ладони.

Что же до гребня госпожи Сливы, признаюсь, я не находил в нем ничего особенного и, считая его неинтересным и очень дорогим, пропустил ее предложение мимо ушей. Тогда Хризантема грустно ответила:

— Нет, спасибо, я не хочу; унесите его, сударыня...

И одновременно весьма уместно глубоко вздохнула, что должно было означать: «Он не настолько меня любит... Не стоит его мучить».

И я тут же купил желанный предмет.

Позже, когда Хризантема станет чернозубой и набожной старой обезьяной, вроде госпожи Сливы, настанет ее очередь сбыть гребень какой-нибудь красотке нового поколения...

...В другой раз у меня от солнца разболелась голова, и я лежал на полу, отдыхая на своей подушке из змеиной кожи. Мутным взором я смотрел, как крутятся, словно в хороводе, открытая веранда, яркое, бездонное вечернее небо с парящими в нем странными змеями, и мне казалось, что наполнявшее воздух размеренное стрекотание цикад болезненно вибрирует в моем теле.

Склонившись надо мною, она пыталась излечить меня японским способом, изо всех сил нажимая мне на виски своими крошечными большими пальцами и вращая ими, словно желая ввинтить их мне в голову. Она раскраснелась от этой утомительной работы, доставлявшей мне истинное наслаждение, что-то вроде легкого наркотического дурмана.

Потом она заволновалась, что у меня может подняться температура, и захотела дать мне съесть скатанную в шарик ее руками чудодейственную молитву на рисовой бумаге, которую она бережно хранила в подкладке одного из своих рукавов...

Так вот, я без смеха проглотил эту молитву, чтобы не обидеть ее, не поколебать ее маленькую чудную веру...

Сегодня мы с моей мусме и с Ивом отправились к знаменитому фотографу, чтобы сделать групповой снимок.

Мы пошлем его во Францию. Ив улыбается при мысли о том, как удивится его жена, увидев между нами хорошенькую мордашку Хризантемы, и задается вопросом, как он сможет ей это объяснить:

— Господи, да я просто скажу, что это одна ваша знакомая, и все!

В Японии есть такие же фотографы, как и у нас; только они японцы и живут в японских домах. Тот, которого мы почтили нынче своим вниманием, практикует далеко в предместье, в том самом древнем квартале с большими деревьями и темными пагодами, где я на днях повстречал такую прелестную мусме. Его вывеска на разных языках прибита к одной из стен как раз на берегу речки, что сбегает с зеленой горы, пересеченная горбатыми мостиками из векового гранита и окаймленная легким бамбуком и цветущими олеандрами.

Странно и нелепо видеть, что здесь, в этой Японии прошлого, обосновался фотограф.

Как раз сегодня к его двери очередь; нам не повезло. Рядом стоит целая вереница повозок, поджидающих привезенных сюда клиентов, которые все пройдут перед нами. А дзины, голые, татуированные, с аккуратными повязками или пучками на голове, болтают, курят трубочки или освежают в речной воде свои мускулистые ноги.

Двор перед входом безукоризненно японский, с фонариками и карликовыми деревьями. Но само фотоателье с тем же успехом могло бы находиться в Париже или в Понтуазе: ^[71] те же стулья из «старого дуба», те же поблекшие пуфы, гипсовые колонны и картонные скалы.

В данный момент фотограф работает с двумя рафинированными дамами (судя по всему, мать и дочь), которые вместе позируют для альбомной фотографии с аксессуарами в стиле Людовика XV. ^[72] Первые знатные дамы в этой стране, которых мне удалось увидеть вблизи, группа весьма странная: свойственные благородному классу удлиненные лица, безжизненные, бескровные, синеватые из-за рисовой пудры, с ротиком в форме сердечка, нарисованным чистым кармином. Впрочем, неоспоримая порода очевидна даже для нас, несмотря на глубокое различие в расах и сложившихся представлениях.

Они с нескрываемым презрением окидывают взором Хризантему, хотя одета она столь же безупречно, как и они. А я никак не могу наглядеться на этих двух особ; они овладели моим вниманием, как нечто никогда прежде не виданное и непостижимое. Их хрупкие тела, принявшие экзотически грациозные позы, утопают в несминаемой материи и пышных поясах, концы которых ниспадают, словно усталые крылья. Они, сам не знаю почему, напоминают мне редкостных насекомых; в необыкновенных рисунках, украшающих их наряд, есть что-то от темной пестроты ночных бабочек. А главное, есть какая-то тайна в их маленьких глазках, узеньких, раскосых, с приподнятыми уголками, едва открывающихся; есть тайна в выражении лиц, как будто отражающем смутную и холодную нелепость их образа мыслей, их внутренний мир, для нас совершенно закрытый. И я думаю, разглядывая их, до чего же мы далеки от этих японцев, до чего непохожи наши расы!..

Затем надо пропустить нескольких пришедших раньше нас английских матросов, принарядившихся в свои белые полотняные костюмы, свеженьких, толстеньких, розовеньких, словно сахарные человечки, с глупейшим видом позирующие на стволе колонны.

И вот наконец наша очередь; Хризантема устраивается медленно, очень старательно, самым элегантным образом выворачивая ноги носками внутрь.

А на показанном нам негативе мы похожи на пресмешную семейку, рядком позирующую ярмарочному фотографу.

13 сентября

Сегодня Ив освобождается на три часа раньше меня, что время от времени случается, ибо так организованы наши четырехчасовые вахты. В такие дни он первым сходит на берег и отправляется ждать меня в Дью-дзен-дзи.

А я с борта корабля смотрю через подзорную трубу, как он карабкается по зеленым горным тропкам: идет он весьма резво, почти бежит; как видно, ему очень не терпится поскорее увидеть малышку Хризантему!

Придя домой около девяти, я вижу его сидящим на полу посреди комнаты с обнаженным торсом (что, должен признать, считается здесь вполне пристойным домашним одеянием). А вокруг него суетятся Хризантема, Оюки и мадемуазель Дэдэ, служанка, спеша обтереть ему спину маленькими синими полотенцами, размалеванными аистами и разными забавными сюжетами...

— О Господи! Чем же это он занимался, что так запарился и дошел до такого состояния?

Он рассказывает, что неподалеку от нас, немного выше по склону, обнаружил площадку для сабельных боев и дотемна бился с японцами, которые наносят удары двумя руками, подпрыгивая, как кошки, по обычаю их страны. Со своим французским фехтованием он разбил их всех наголову. Тогда его стали чествовать, поздравлять и принесли много всяких очень холодных напитков. Вот он и вспотел от всего этого...

— А-а! Здорово. — Но я не мог себе объяснить...

Он в восторге от проведенного вечера; он каждый день будет развлекаться, расправляясь с ними; он думает даже завести учеников.

Как только вытирание спины подходит к концу, они все вместе, три мусме и он, начинают играть в «съедобное-несъедобное» на японский лад. По правде сказать, ничего более невинного, ничего лучшего во всех отношениях я не мог бы и пожелать.

Около десяти к нам неожиданно приходят Шарль N*** и его жена госпожа Нарцисс. (Они оказались в наших краях, заблудились в густом лесу и, увидев свет, поднялись к нам.)

Они намереваются завершить вечер в чайной Жаб и хотят взять нас с собой, чтобы вместе попить шербет. Эта чайная по меньшей мере в часе ходьбы отсюда, на другом конце города, на середине горы, в садах большой пагоды Осуэвы; и все же они настаивают, утверждая, что в такую ясную лунную ночь вид с террасы храма должен быть просто великолепен.

— Великолепен, я не спорю; но мы собирались лечь спать... А впрочем, ладно, пошли с ними.

Внизу, на главной улице, перед домом госпожи Чистюли мы нанимаем пять дзинов с повозками, а она подбирает для нашей поздней экспедиции огромные, совершенно круглые фонари, такие красные шары, разукрашенные медузами, водорослями и зелеными акулами.

Когда мы пускаемся в путь, часы показывают около одиннадцати. В центральных кварталах уважающие себя японцы уже закрывают свои лавочки, гасят свет, задвигают деревянные панели, перемещают бумажные рамы.

А дальше, на древних улочках предместья, все уже давно закрыто; наши повозки катятся в крошечной темноте. Мы кричим джинам: «Хаяку! Хаяку!» (Быстрее! Быстрее!), — и они мчатся во весь опор, время от времени покрикивая, словно веселые, разыгравшиеся животные. Мы несемся в темноте как угорелые, гуськом все пятеро, отчаянно подпрыгивая на старых разошедшихся плитах, плохо освещаемых нашими красными шарами, трясуцимся на своих

бамбуковых стержнях. Время от времени какой-нибудь японец с синим ночным платком на голове открывает окно, желая взглянуть, что за сумасброды бегают тут так быстро и так поздно и производят столько шума. Или же брошенный мимоходом луч света от нашего фонаря выхватывает ужасающую гримасу какого-нибудь огромного каменного зверя, сидящего у входа в пагоду...

Наконец мы оказываемся у подножия храма Осуэвы и, оставив дзинов с тележками, начинаем подниматься по лестницам, где в этот вечер нет ни души.

Хризантема, которая всегда держится как усталая девочка, как балованное и грустное дитя, медленно поднимается между Ивом и мною, опираясь на наши руки.

Нарцисс, напротив, взбирается наверх, подпрыгивая, словно птица, а чтобы было веселее, считает нескончаемые ступени:

— Хитоцу! Ф'тацу! Мицу! Ёцу! (Раз! Два! Три! Четыре!) — говорит она, легкими скачками поднимаясь вверх.

— Ицуцу! Муцу! Нанацу! Яцу! Коконоцу! (Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять!)

Гласные она произносит особенно закрыто, словно для того, чтобы цифры эти звучали еще смешнее.

Над ее великолепным черным узлом блестит серебряный султанчик; ее силуэт тонок, грациозен и необычайно странен; в такой темноте не видно, что лицо ее почти безглазо и безобразно.

В самом деле, Хризантему и Нарцисс сегодня можно принять за маленьких фей; есть мгновения, когда самые неказистые японки начинают так выглядеть благодаря элегантному своеобразию и замысловатому обрамлению.

Пустая, огромная, однотонно серая под ночным небом гранитная лестница словно убегает от нас вверх — а сзади, если обернуться, вглубь — головокружительным спуском вглубь. И чем выше поднимаемся мы по склону, тем больше вытягиваются огромные черные тени храмовых портиков, через которые нам предстоит пройти; тени эти, будто ломающиеся на уступе каждой ступеньки, по всей длине собираются в равномерные складки, как веер. Возвышаясь один над другим, стоят одинокие портики — их удивительные формы одновременно отличаются крайней простотой и редкостной изысканностью; их контуры вырисовываются резко и четко, и все же есть в них что-то неуловимо призрачное, как всегда бывает с очень большими предметами при лунном свете. Их выгнутые архитравы^[73] приподнимаются по краям двумя тревожными рогами, устремленными к далекому синеватому своду, где мерцают звезды; каждым своим острием они словно хотят рассказать богам о том, что слышит их фундамент в недрах окрестной земли, полной захоронений и мертвецов.

Теперь мы всего лишь маленькая группа людей, затерявшаяся посреди бесконечного подъема; мы идем, освещенные одновременно бледной луной, светящей сверху, и красными фонарями, по-прежнему покачивающимися на длинных стержнях у нас в руках.

На подходах к храму царит великое безмолвие; даже стрекот насекомых, кажется, смолкает по мере приближения. Понемногу мы начинаем ощущать внутреннюю сосредоточенность, что-то вроде религиозного страха, и одновременно воздух становится все более свежим и нам делается прохладно.

Наверху, при входе в священный двор, где стоят нефритовый конь и фарфоровые башенки, нас охватывает смущение. Там еще темнее, из-за стен. Кажется, наш приход помешал какому-то мистическому перешептыванию духов воздуха с находящимися там химерами и чудовищами, освещенными голубыми лунными бликами.

Мы сворачиваем налево и входим в расположенный террасой сад, чтобы пройти к чайной Жаб — цели нашего вечера, — и находим ее закрытой (как я и ожидал), закрытой и темной в

столь поздний час!.. Мы все вместе барабаним в дверь; как можно ласковее зовем по именам всех прислуживающих там мусме, которых мы так хорошо знаем, мадемуазель Прозрачную, мадемуазель Звезду, Утреннюю Росу, Маргаритку. Никого. Прощайте, ароматные шербеты и фасоль с льдинками!..

Перед тиром для стрельбы из лука наши мусме в ужасе отскакивают в сторону, говоря, что увидели на земле мертвеца. Действительно, там кто-то лежит. Мы робко изучаем положение вещей при свете наших красных шаров, которые из страха перед мертвым держим за самый кончик стержня: оказывается, это всего лишь смотритель тира, тот самый, что 14 июля выбирал для Хризантемы такие красивые стрелы, — добрый мальчик мирно спит, его пучок слегка растрепался, но потревожить его было бы жестоко.

Ну что ж, пойдем на край террасы, посмотрим на бухту у нас под ногами, а потом вернемся домой.

Бухта в этот вечер выглядит огромной дырой, зловещей и мрачной, куда не проникают лучи лунного света; зияющая трещина, разверзшаяся, кажется, до самых земных недр, в глубине которой, словно стайка светлячков на дне ямы, поблескивают крошечные огоньки кораблей.

...Два часа, середина ночи. Как всегда, теплятся огоньки в лампадах перед нашими безмятежными идолами... Хризантема внезапно будит меня, и я смотрю на нее: она сидит, опираясь на руку, и лицо ее выражает сильный страх; молча, не решаясь заговорить, она знаками показывает мне, что кто-то... или что-то... подползает к нам... Что за зловещее посещение? Мне самому становится страшно. У меня возникает мимолетное ощущение какой-то неведомой жуткой опасности в этом уединенном месте, в этой стране, люди и тайны которой так и остались для меня непостижимыми. Видимо, это действительно ужасно, если она вот так застыла, перепуганная до полусмерти, ведь она знает...

Кажется, это снаружи; это подступает со стороны садов; дрожащей рукой она показывает, что это сейчас поднимется через веранду, через крышу госпожи Сливы... — И правда, слышится легкий шум... все ближе и ближе.

Я делаю попытку сказать:

— Нэко-сан? (Это господа коты?)

— Нет! — возражает она, по-прежнему напуганная и взволнованная.

— Бакэмоно-сама? (Господа Привидения?) В Японии я уже привык изъясняться преувеличенно вежливо.

— Нет!! Доробо!! (Воры!!)

— Воры! А-а! Тем лучше; это мне куда больше по душе, чем посещение каких-нибудь духов или мертвецов, чего я было так испугался в момент просыпания; воры — это значит совершенно живые человечки, да еще, наверное, с препотешными физиономиями, раз они японцы. Теперь, когда я знаю, чего ждать, мне уже даже совсем не страшно, и сейчас мы пойдем посмотрим, в чем там дело, — ибо на крыше госпожи Сливы действительно шумят — ходят...

Я открываю одну из деревянных панелей и смотрю.

Моему взору открываются одни лишь бескрайние дали, мирные, безмятежные, изысканные, освещенные ярко сияющей луной; Япония, спящая под звонкий стрекот цикад, в эту ночь просто обворожительна, а дышать свежим ночным воздухом — истинное наслаждение.

Хризантема, наполовину спрятавшаяся за моей спиной, прислушивается, дрожа, вытягивает шею, чтобы лучше разглядеть сады и крыши широко раскрытыми глазами испуганной кошки... Нет, ничего, и никакого движения... То там, то тут виднеются резкие тени, на первый взгляд необъяснимые, но на самом деле отбрасываемые какой-то частью стены или ветками деревьев, и все они совершенно неподвижны, что вполне утешает. В неопределенности лунного света все кажется застывшим в спокойствии и безмолвии.

Ничего; нигде ничего. Это были попросту господа коты, или же госпожи совы: ночью здесь у нас любой звук усиливается самым необычайным образом...

Предосторожности ради, хорошенько закроем панель, потом зажжем фонарь и спустимся посмотреть, не спрятался ли кто где-нибудь в уголке, хорошо ли заперты двери; чтобы успокоить Хризантему, совершим полный обход жилища.

И вот мы на цыпочках идем по самым укромным закоулкам этого дома, очень древнего, если судить по фундаменту, хотя легкие перегородки и сделаны из свежей бумаги; совершенно темные углубления, подвальные червями сводами; шкафы для риса, пахнущие ветхостью и плесенью; таинственные недра, где скопилась пыль нескольких веков. Всего этого я не знал, и выглядит это среди ночи в погоне за ворами весьма неприглядно.

Крадучись, мы проходим через апартаменты наших хозяев. Меня тянет за руку Хризантема,

и я послушно следую за ней. Они спят, лежа рядом под синеватым газовым пологом, освещенные лампадками, горящими перед алтарем предков. Надо же! Они лежат в таком порядке, что это может привести к пересудам! Сначала — мадемуазель Ою-ки, очень мило раскинувшаяся во сне. Затем — госпожа Слива, спящая с открытым ртом, выставив напоказ свою черную челюсть; из ее глотки вырывается прерывистый звук, напоминающий хрюканье... Ох! До чего же безобразна эта госпожа Слива!! Потом — господин Сахар, на время превратившийся в мумию. И наконец, рядом с ним, последняя в ряду, — служанка, мадемуазель Дэдэ!..

Натянутый газ отбрасывает на них блики цвета морской волны, и кажется, что эти люди утонули в аквариуме. А священные лампадки и алтарь со странными синтоистскими символами придают всей семейной картине видимость благочестия.

Позор тому, кто дурно об этом подумает, но почему бы, собственно, этой молоденькой служанке не лечь рядом с хозяйками? У нас наверху, когда мы оказываем гостеприимство Иву, мы стараемся разместиться под москитной сеткой куда более благопристойным образом...

Зауток, который нам предстоит осмотреть в последнюю очередь, внушает мне некоторое опасение. Это низкие и таинственные антресоли, к дверце которых, словно забытая вещь, приклеен старый-старый образ благочестия: Каннон-тысячерукая и Каннон-с-лошадиной-головой, восседающие в облаках и в пламени, и одинаково ужасающие своим потусторонним смехом.

Мы открываем дверь, и Хризантема с жутким воплем отскакивает назад. Я бы решил, что там спрятались воры, если бы не видел, как над ней промелькнуло и исчезло что-то серенькое, быстрое, юркое — молодая крыса, евшая рис на верху этажерки и с перепугу прыгнувшая ей в лицо...

14 сентября

Ив потерял в море свой серебряный свисток, совершенно необходимый ему при маневрах, и мы весь день вместе с Хризантемой и ее сестрами мадемуазель Снег и мадемуазель Луной бегаем по городу в поисках нового.

Найти его в Нагасаки трудно, а еще труднее объяснить по-японски, что нужен морской свисток строго определенной формы, выгнутый, с шариком на конце, способный выдавать трели и полнозвучные сигналы, соответствующие официальным командам. На протяжении трех часов нас посылают из лавки в лавку; продавцы, делая вид, что отлично все поняли, пишут нам кисточкой на шелковой бумаге адреса магазинов, где нам надо в точности рассказать, что именно нам нужно, и мы, окрыленные надеждой, отправляемся в путь навстречу новой мистификации; наши запыхавшиеся дзины просто теряют голову.

Все прекрасно понимают, что мы хотим нечто, производящее шум, музыку; вот нам и предлагают самые неожиданные, самые необычайные инструменты всевозможной формы: металлические пластинки для изменения голоса полишинелей, свистки для собак, трубы. Нам рекомендуют все более и более неслыханные вещи, так что в конце концов мы покатываемся со смеху. В довершение всего один старый японский оптик, слушавший нас с очень умным видом, видом совершеннейшей компетентности, уходит в свою подсобку и, порывшись там, выносит нам паровую сирену с потерпевшего крушение корабля.

Самое существенное событие вечером, после ужина — это проливной дождь, захвативший нас при выходе из чайной на обратном пути нашей щегольской прогулки. Нас как раз было много, мы пригласили разных мусме, и потоп, без всякого предупреждения обрушившийся на нас с неба, словно из опрокинутой лейки, тут же привел к беспорядочному бегству. По-птичьи попискивая, мусме кинулись врассыпную и стали прятаться в дверях, у торговков, под навесами дзинов.

Немного погодя, когда наспех позакрывались лавочки, опустела затопленная, почти черная улица, погасли жалкие промокшие бумажные фонарики, я вдруг оказался, сам не знаю как, прижатым к стене под выступом какой-то крыши бок о бок с моей кухней, мадемуазель Клубничкой, плачущей из-за того, что вымокло ее нарядное платье. И я внезапно ощутил, насколько печален и мрачен этот город под шум непрекращающегося дождя, обдающего брызгами все вокруг, под шум водосточных желобов, жалобно перешептывающихся в темноте, словно ручейки.

Ливень кончился очень быстро. И тогда мусме стали, как мышки, вылезать из своих норок, искать друг друга, перекликаться, и их тоненькие голоса зазвучали протяжно, тоскливо, с той особенной интонацией, которая появляется у них всегда, когда нужно позвать кого-нибудь издалека:

— Э-эй! Мадемуазель Луна-а-а-а-а!!

— Э-эй! Госпожа Нарци-и-и-и-исс!!

Они зовут друг друга, выкрикивая эти странные имена и бесконечно растягивая их в наступившей вдруг тишине, во влажном и особенно звонком после сильного летнего дождя ночном воздухе.

Наконец все эти маленькие создания, с раскосыми глазками и без мозгов, найдены, собраны вместе — и все мы, совершенно мокрые, поднимаемся в Дью-дзен-дзи.

Ив в третий раз спит рядом с нами под нашим синим пологом.

После полуночи снизу доносится сильный шум; это наши хозяева возвращаются из паломничества к дальнему храму богини Благодати. (При всем своем синтоизме госпожа Слива чтит это божество, как говорят, благоволившее к ней в молодости.) И сразу же к нам, как метеор, влетает мадемуазель Оюки, неся очаровательный маленький подносик с освященными конфетами, купленными там, у дверей храма специально для нас, которые надо немедленно съесть, пока не испарилась чудотворная сила. Так до конца и не проснувшись, мы в полусне жуем эти маленькие штучки с сахаром и перцем и рассыпаемся в благодарности.

Ив спит спокойно и не бьет на сей раз в пол ни руками, ни ногами. Он повесил свои часы на руку золоченому идолу, так чтобы в любое время ночи можно было взглянуть, который час, при свете священной лампы. Встает он очень рано, спрашивает: «Я хорошо себя вел?» — и наскоро одевается, озабоченный переключкой и дежурством.

На улице, должно быть, уже светло; через маленькие дырочки, проделанные временем в наших деревянных панелях, в комнату проникают лучи утреннего света; зыбкие белые полосы пронизывают воздух нашей спальни, где мы все еще держим взаперти ночную мглу. Немного погодя, когда взойдет солнце, полосы эти вытянутся и приобретут красивый золотистый оттенок. Стрекогут цикады, кричат петухи, и госпожа Слива скоро затянет свой мистический напев.

Тем временем движимая вежливостью Хризантема зажигает фонарь и в ночной тунике выходит проводить Ива-сан до подножия темной лестницы. Я даже, кажется, слышу, как они целуются при прощании... В Японии это ни о чем не говорит, я знаю; так делают на каждом шагу, так принято; где угодно, даже будучи первый раз в доме, человек может преспокойно целовать разных мусме, никто и слова не скажет. Но все равно, у Ива по отношению к Хризантеме положение особое, и ему бы следовало лучше это понимать. Меня волнуют часы, не раз проведенные ими дома наедине; и я говорю себе, что не стану за ними шпионить, но нынче же откровенно поговорю с Ивом, чтобы не было никаких недомолвок...

Внизу вдруг — хлоп! хлоп! — бьются друг о друга сухие ладони: это госпожа Слива привлекает к себе внимание великого Духа. И сразу же раздается, разливается ее молитва, гнусавый фальцет звучит пронзительно, раздражающе, неумолимо, как звонок будильника в определенный час, как механический звук отпущенной пружины...

...Самой богатой женщиной мира... Чисто-начисто от моих прегрешений, о Аматаэрасу-о-миками, в водах реки Ка-мо...

И это странное, уже совсем не человеческое бляение сбивает и путает мои мысли, бывшие почти светлыми в момент пробуждения...

15 сентября

В воздухе пахнет отъездом. Со вчерашнего дня поговаривают о нашей отправке в Китай, в Пекинский залив:^[74] один из тех слухов, что непонятно как возникают на корабельных палубах за два-три дня до официальных приказов и никогда не бывают ложными. Каким же будет последний акт моей маленькой японской комедии, ее развязка, расставание? Возникнет ли хоть немного грусти у моей мусме или у меня, сожмется ли хоть немного сердце в момент разлуки? Я плохо представляю себе все это заранее. А как пройдет прощание Ива с Хризантемой? Этот пункт меня особенно беспокоит...

Все еще очень неопределенно, но так или иначе наше пребывание в Японии явно подходит к концу. Может быть, именно это и побудило меня нынче вечером окинуть все, что меня окружает, более дружелюбным взором. Около шести я прихожу в Дью-дзен-дзи после дежурства. Очень низкое, готовое уйти за горизонт солнце светит прямо в мою комнату, пронизывает ее яркими красно-золотыми лучами, освещая будд и цветы, причудливыми букетами расставленные по старинным вазам. Пять или шесть куколок — моих соседюшек — резвятся, танцуя под гитару Хризантемы... И в этот вечер я нахожу истинное очарование в том, что и дом, и женщина, аккомпанирующая танцующим, — все это принадлежит мне. В общем-то я был несправедлив к этой стране; мне кажется, что сейчас глаза мои открываются, что я прозреваю, и все мои чувства переживают внезапное и странное преобразование; я вдруг замечаю и лучше постигаю все неисчислимое множество милых вещиц, среди которых я живу, удивительно изысканную и хрупкую грациозность форм, причудливость рисунков и утонченный подбор красок.

Я ложусь на свои белоснежные циновки; Хризантема заботливо несет мне подушку из змеиной кожи, а улыбающиеся мусме мерным шагом кружатся вокруг меня, храня в памяти ритм только что прерванного танца.

Их безукоризненные носки с отдельно вывязанным большим пальцем ступают бесшумно; когда они проходят мимо, слышится только шелест материи. Все они кажутся мне миловидными; теперь мне нравится их кукольный вид, и я вроде бы даже понял, почему они так выглядят: не столько из-за своих кругленьких, невыразительных физиономий с бровями, расположенными очень высоко над глазами, сколько из-за чрезмерной пышности платьев. Рукава такие широкие, что кажется, будто у них нет ни спины, ни плеч; хрупкие фигурки теряются в с одеждах, развевающихся вокруг них, словно вокруг маленьких, бесплотных марионеток, и создается впечатление, что они соскользнули бы на землю, если бы не были перехвачены посередине широкими шелковыми поясами.

Одежда здесь понимается совершенно иначе, чем у нас, где ей следует как можно плотнее облегать формы, как настоящие, так и фальшивые...

А потом, я просто восхищаюсь цветами, которые Хризантема по-японски искусно расставила в наших вазах: лотосы, большие священные цветы, нежно-розовые с прожилками, млечно-розовые, как фарфор; когда распустятся, напоминающие огромные кувшинки, а пока не раскроется бутон — длинные бледные тюльпаны. Их сладкий, немного утомительный аромат примешивается к неуловимому запаху мусме, желтой расы, Японии, который всегда и везде носится в воздухе. Для сентября это уже запоздалые цветы, встречаются они в это время года редко, стоят очень дорого, и стебли у них длиннее, чем обычно; Хризантема оставила их огромные водяные листья того печального оттенка зеленого цвета, что бывает у морских

водорослей, и соединила с хрупким тростником. Я смотрю на них и не без иронии вспоминаю большие круглые венки в форме цветной капусты, убранные кружевами или белой бумагой, которые делают наши французские цветочницы...

По-прежнему нет писем из Европы, ни от кого. Как же все стирается, меняется, забывается... Теперь я уже отлично свыкся с жеманной Японией; я сам становлюсь маленьким и манерным; я чувствую, как мысли мои ужимаются, а вкусы склоняются к милым вещицам, способным вызвать только улыбку; я привыкаю к маленькой замысловатой мебели, к игрушечным пюпитрам для письма, к миниатюрным кукольным чашечкам; к девственному однообразию циновок, к тонко выделанной простоте белой деревянной обшивки. Я даже утрачиваю западные предрассудки; нынче вечером все мысли мои блуждают и улечиваются; проходя по саду, я учтиво поклонился господину Сахару, который поливал свои карликовые кусты и уродливые цветы; госпожа Слива кажется мне почтенной дамой, достойной всяческого уважения, с вполне допустимым прошлым...

Сегодня мы не пойдем гулять; мне хочется остаться вот так лежать и слушать самисэн [\[75\]](#) моей мусме.

До сих пор я всегда писал гитара, дабы избежать экзотических терминов, в злоупотреблении которыми меня и так упрекают. Но ни слово гитара, ни слово мандолина не дают представления об этом тоненьком инструменте с длинным-длинным грифом, издающем высокие ноты, еще жеманнее, чем стрекот кузнечиков; с этого момента я буду писать самисэн.

А мою мусме я стану называть Кику, Кику-сан; это имя подходит ей гораздо больше, чем Хризантема, которое хотя и точно переводит смысл слова, но не передает его причудливого звучания.

Итак, я говорю Кику, моей жене:

— Поиграй, поиграй для меня; я останусь здесь и весь вечер буду тебя слушать.

Удивленная моим добрым расположением, она заставляет себя немного поупрашивать, причем на губах ее почти угадывается горькая складка торжества и презрения, потом принимает позу, как на картинке, откидывает длинные темные рукава — и начинает. Первые нерешительные нотки звучат приглушенно, сливаясь с музыкой насекомых, звенящей снаружи, в тихом воздухе, в теплых, золотистых сумерках. Сначала она медленно играет какие-то запутанные вещи, которые, похоже, немного подзабыла, и часто приходится подолгу ждать продолжения; другие малютки хмыкают, слушают невнимательно и жалеют о прерванном танце. И сама она рассеянна и скучна, как человек, выполняющий заданный урок.

Потом, понемножку-понемножку, приходит оживление, и мусме начинают слушать. Ритм ускоряется, появляется лихорадочная дрожь, и ее взгляд уже никак не назовешь по-кукольному невыразительным. В музыке слышатся завывания ветра, жуткий смех масок, душераздирающие стоны, рыдания — и ее расширенные зрачки обращены внутрь, в самую глубину непостижимой японской природы.

Я слушаю ее лежа, с полуприкрытыми глазами, глядя сквозь невольно смыкающиеся под тяжестью век ресницы на то, как где-то далеко внизу умирает над Нагасаки огромное красное солнце. И у меня появляется весьма грустное чувство, что вся моя прошлая жизнь и все остальные места на земле стираются и отступают. В сгущающихся сумерках я чувствую себя почти как дома в этом уголке Японии, среди садов этого предместья; такого со мной еще никогда не было...

16 сентября

Семь часов вечера. Сегодня мы уже не будем спускаться в город; как добрые японские буржуа, мы останемся у себя в высоком предместье.

Одетые по-домашнему, сходим с Ивом по-соседски на фехтовальную площадку, находящуюся в двух шагах, прямо над нашим домиком, почти граничащую с нашим свежим садом.

Но площадку мы находим закрытой; сидящий у дверей муско с глубочайшими поклонами объясняет нам, что сейчас слишком поздно, что все любители разошлись и что нам придется прийти завтра.

Вечер так прекрасен, так мягок, что мы не идем домой, а продолжаем без всякой цели подниматься по тропинке, теряющейся в пустынных районах гор, где-то ближе к вершинам.

Целый час длится наша непредвиденная прогулка, и вот мы стоим высоко-высоко над бесконечными далями, освещенными последними лучами догорающего дня; стоим в одном из уединенных и печальных уголков среди маленьких буддистских кладбищ, которыми усеяны горные склоны.

По дороге нам попадаются несколько запоздалых работников, возвращающихся с полей и несущих на спине снопы чайных листьев. Физиономии у этих крестьян немного диковатые; они полуголые или же одеты в длинные робы из синего хлопка; проходя мимо, они отвешивают нам глубокие поклоны.

Деревьев в этом высокогорье нет. Чайные поля перемежаются надгробьями: старые гранитные статуэтки, представляющие Будду в цветке лотоса, или же могильные столбики с поблескивающими остатками золотых надписей. А в основном вокруг нас — невозделанные участки, скалы и колючий кустарник.

Больше мы уже никого не встречаем, начинает темнеть. Постоим минутку, и пора спускаться.

Но вот прямо рядом с тем местом, где мы находимся, стоит на свежеперекопанной земле светлый деревянный ящик с ручками, нечто вроде портшеза, с лотосами из фольги и еще горящими благовонными палочками; очевидно, сегодня вечером здесь кого-то похоронили.

Представить себе этого человека я не могу; японцы при жизни настолько смешны, что трудно вообразить, как они выглядят в покое и величии того, что после... Ну, да все равно, лучше держаться подальше от этого покойника, а то как бы не разбудить его, ведь он совсем свеженький, и нам не по себе. Пойдем присядем где-нибудь в сторонке, на одной из тех древних могил, что не сохранили в себе ничего, кроме праха. И там, оба в лучах света, еще освещающего эти высоты, тогда как долины и само основание земли уже теряются во мраке, поговорим.

Мне хочется поговорить с Ивом о Хризантеме; в общем-то я и усадил его для этого, только не знаю, как начать, чтобы не обидеть его и не показаться смешным. Да впрочем, чистый воздух этих мест и грандиозный пейзаж у меня под ногами уже настолько меня умиротворили, что все мои подозрения и сама их причина кажутся мне жалкими и достойными презрения...

Сначала мы обсуждаем приказ об отправке то ли в Китай, то ли во Францию, ожидаемый с минуты на минуту. И придется вскоре расстаться с этой легкой, почти забавной жизнью, с японским предместьем, куда нас занесло волею судеб, и с утопающим в цветах домиком. Обо всем этом Ив будет жалеть больше, чем я, и это вполне понятно: ведь его суровая карьера впервые прерывается вот такой интермедией. Раньше, в нижних чинах, он почти никогда не

сходил на берег в экзотических странах, словно какая-нибудь чайка, живущая в открытом море; я же всегда был избалован уютным жильем, куда привлекательнее нынешнего, в самых разных краях, воспоминание о которых до сих пор приводит меня в волнение.

И я решаюсь сказать ему, чтобы прощупать почву:

— Тебе, наверное, будет грустнее, чем мне, расставаться с малышкой Хризантемой?..

Между нами повисает молчание.

Тогда я иду дальше, сжигая за собой мосты:

— Знаешь, вообще-то, если она доставляла тебе столько удовольствия... Я ведь не женился на ней, она, в сущности, мне не жена...

Он смотрит на меня с большим удивлением:

— Она вам не жена, говорите? Как бы не так... В том-то все и дело, что она ваша жена...

Нам с ним никогда не нужны были долгие разговоры; теперь я абсолютно убежден его интонацией, его доброй, искренней улыбкой; я понимаю все, что таится в коротенькой фразе: «В том-то все и дело, что она ваша жена...» Не будь она ею — о-о! — он не мог бы поручиться за дальнейшее, хотя в глубине души его бы мучило раскаяние, ведь он уже не мальчик и не свободен, как раньше. Но он относится к ней как к моей жене, и это святое. Я целиком и полностью верю его словам и испытываю истинное облегчение, истинную радость, оттого что вновь, как в старые добрые времена, вижу перед собой моего славного Ива. Как же я мог настолько поддаться уничижающему влиянию здешних мест, что стал его подозревать и переживать из-за такой ерунды?..

Только не будем больше об этой куколке...

Мы остаемся там допоздна, говорим о другом, глядя на раскинувшиеся у нас под ногами долины, горы, бездонные ущелья, становящиеся все темнее, темнее и тонущие во мраке. Здесь, высоко-высоко, на свежем, чистом воздухе, кажется, что мы уже уехали из жеманной Японии, уже избавились от мелких впечатлений, которыми она действовала на наше воображение, от мелких пут, которыми она успела нас привязать.

С такой высоты все страны земли кажутся похожими; они утрачивают отпечаток, наложенный людьми, народами — молекулами, копошащимися там, внизу.

Как некогда на бретонских равнинах, в Тульвенских лесах или в море на ночной вахте, мы обсуждаем то, о чем так хорошо думается в темноте: привидения, души, будущее, потустороннее, ничто...

И совершенно забываем о малышке Хризантеме!

Когда при свете звезд мы подходим к Дью-дзен-дзи, доносящиеся издали звуки самисэна напоминают нам о ее существовании: она разучивает какой-то ноктюрн для двух голосов со своей ученицей мадемуазель Оюки.

Сегодня вечером, избавившись от нелепых подозрений относительно бедняги Ива, я чувствую себя в прекрасном расположении духа и намерен без задней мысли насладиться последними днями пребывания в Японии и веселиться как можно больше.

Приляжем на белые циновки и послушаем странный дуэт наших мусме: это своего рода протяжный, скорбный речитатив, начинающийся с двух-трех высоких нот, а потом, с каждым куплетом, почти незаметно спускающийся все ниже и ниже и доходящий до совсем низких звуков. Пение все время остается медленным и монотонным; аккомпанемент же понемногу нарастает, словно вой приближающегося шквала. В конце концов, когда их детские голоса, обычно такие нежные, издают низкие, сиплые звуки, пальцы Хризантемы, напряженно перебирающие дрожащие струны, начинают бегать с бешеной скоростью. Обе они опускают голову и выпячивают нижнюю губу, чтобы с усилием взять эти удивительные глубокие ноты. В такие моменты их раскосые глаза раскрываются и как будто выдают что-то вроде души,

таящееся за кукольной внешностью.

Но душа эта более чем когда-либо кажется мне относящейся к другому виду, чем моя; я чувствую, что мое сознание так же далеко от их мыслей, как от переменчивых взглядов птицы или обезьяньих грез; я чувствую между ними и мною таинственную, ужасающую бездну...

Вдруг музыка, исполняемая для нас мусме, прерывается какой-то другой, доносящейся с улицы, издалека.

Это там внизу, в Нагасаки, в лежащих под нами глубинах, внезапно раздались голоса гонгов и гитар; мы спешим свеситься с перил веранды, чтобы лучше слышать.

Мацури, праздник, процессия, проходящая по «кварталу галантных дам», уверяют наши мусме, презрительно поджимая губы. Но вид у квартала этих дам вполне целомудренный, если смотреть с птичьего полета, с горы, где мы живем, да еще при неверном свете звезд; и даваемый там концерт очищается, пока поднимается к нам из глубины пропасти; до нас он доходит слегка приглушенным, нечетким, волшебным, изумительным...

Потом удаляется и смолкает...

Тогда две подружки снова усаживаются на циновки и возвращаются к своему грустному дуэту. Невидимый, но бесчисленный оркестр из сверчков и цикад вторит им тремоло [\[76\]](#) — всегда и везде это несмолкаемое, безграничное тремоло, тихонько и вечно разливающееся по японской земле.

17 сентября

Во время дневного отдыха приходит внезапный приказ завтра же отправляться в Китай, в Чифу^[77] (жуткое место в Пекинском заливе). С этим известием меня в моей каюте будит Ив.

— Мне совершенно необходимо исхитриться, чтобы попасть сегодня вечером на берег, — говорит он, пока я стряхиваю с себя остатки сна, — хотя бы даже для того, чтобы помочь вам там наверху с переселением...

И смотрит через иллюминатор моей каюты, вытягивая шею к зеленым вершинам, в направлении Дью-дзен-дзи и нашего звонкого домишки, скрытого горной складкой.

С его стороны очень мило так стремиться помочь мне с переселением; но я думаю, что ему еще хочется попрощаться со своими японскими подружками, и, по правде говоря, я не могу на него за это сердиться.

Он и в самом деле исхитряется и без всякого моего вмешательства получает увольнительную сегодня в пять часов вечера, после учебных маневров.

Что же касается меня, я отправляюсь прямо сейчас, на наемном сампане.

В ярком свете полуденного солнца, под дребезжащий стрекот цикад я поднимаюсь в Дью-дзен-дзи.

Тропинки безлюдны; растения изнывают от жары.

Вот, однако, госпожа Нарцисс, вышедшая погулять в этот излюбленный кузнечиками светлый час и прячущая свою хрупкую фигурку и тоненькое личико под огромным бумажным зонтиком, совершенно круглым, с очень близко расположенными спицами и пестрым замысловатым рисунком.

Она издали узнает меня и, как всегда смеясь, бежит мне навстречу.

Я сообщаю ей о предстоящем отъезде — и недовольная гримаса искажает ее детские черты... Право же, неужели ей и в самом деле грустно?.. Неужели она заплачет?.. Нет-нет! Все оборачивается приступом смеха, может, немного нервного, но неожиданного, озадачивающего — зазвучавшего сухо и резко в безмолвии теплых тропинок, словно посыпался мелкий фальшивый жемчуг.

Ну и отлично, по крайней мере, один брак будет расторгнут безболезненно! Эта коноплянка меня раздражает, и я поворачиваюсь к ней спиной и иду своей дорогой.

Наверху, лежа на полу, спит Хризантема; дом полностью открыт, и теплый горный ветерок продувает его насквозь.

Мы как раз должны были устраивать чай сегодня вечером, и, согласно моим указаниям, все уже убрано цветами. В наших вазах опять стоят лотосы, прекрасные розовые лотосы; на этот раз, я думаю, уже последние в этом сезоне. Их, наверное, заказали в специальных цветочных лавках там, в районе Большого храма, и обойдутся они мне очень дорого.

Легкими движениями веера я бужу изумленную мусме и сообщаю, что уезжаю, с любопытством ожидая реакции. Она выпрямляется, тыльной стороной своих маленьких ладошек трет отяжелевшие веки, а потом смотрит на меня и опускает голову: в ее глазах проскальзывает что-то вроде грусти.

Наверное, эта мимолетная боль из-за Ива.

Новость облетела весь дом.

Перепрыгивая через ступеньки, прибегает мадемуазель Оюки с полуслезинкой в каждом глазу, как у младенца; она целует меня своими полными красными губами, всегда

оставляющими мокрый кружок у меня на щеке; потом быстренько вытаскивает из широкого рукава квадратик шелковой бумаги, утирает непрощенные слезы, сморкается своим маленьким носиком, скатывает бумажку в шарик и бросает в окно на зонтик прохожего.

Затем, взволнованная, растрепанная, появляется госпожа Слива и одну за другой принимает позы, выражающие возрастающее отчаяние. Да что с ней, собственно, с этой престарелой особой, почему она приближается ко мне настолько, что мне трудно пошевелиться, обернуться?..

В последний день мне предстоит обежать с помощью дзина немыслимое количество торговцев безделушками, поставщиков, упаковщиков.

И все же, прежде чем будет нарушен порядок в моем жилище, я хочу улучшить момент и нарисовать его... как некогда в Стамбуле... В самом деле, кажется, все, что я здесь делаю, — это горькая породия на то, что я делал там...

На сей раз дело не в том, что жилище это мне дорого; просто оно милое и странное; и его изображение любопытно сохранить.

Так вот, я ищу листок бумаги из альбома и сразу же, сев на пол, начинаю рисовать, опираясь на пюпитр с выпуклыми кузнечиками, — а за моей спиной очень-очень близко внимательно и удивленно следят за движениями моего карандаша три женщины. Они никогда не видели, как рисуют с натуры, ведь японское искусство — это сплошная условность, и зачарованы моим методом. Может быть, моей руке недостает уверенности и бойкости господина Сахара, так здорово группирующего своих прелестных аистов, но зато я имею некоторое представление о перспективе, которого у него нет; и потом, меня учили изображать вещи так, как я их вижу, а не так, чтобы они выглядели замысловато утрированными и кривляющимися; вот три японки и поражаются естественности моего наброска.

Повизгивая от восхищения, они пальцем показывают друг другу предметы, по мере того как их контуры и тени черным по белому проступают у меня на бумаге. Хризантема смотрит на меня как-то по-новому, не без интереса:

— Аната итибан! — говорит она. (Буквально: «Ты первый!», что означает: «Ты просто первый класс!»)

Мадемуазель Оюки идет в своей оценке еще дальше и в порыве восторга восклицает:

— Аната бакари! («Только ты!», то есть: «В мире есть только ты; все остальные по сравнению с тобой — никчемная мелюзга».)

Госпожа Слива ничего не говорит, но я отлично вижу, что думает она так же; больше того, ее томные позы, рука, все время норовящая коснуться моей, утверждают меня в мысли, только что зародившейся при виде ее удрученной физиономии: видимо, вся моя персона в целом действует на ее воображение, оставшееся романтическим, невзирая на возраст! И я уеду с сожалением, что понял это слишком поздно!..

Может, дамы и удовлетворены моим рисунком, но обо мне этого не скажешь. Я в точности разместил все по местам, но в картине в целом есть что-то обыденное, заурядное, французское, чего нельзя допустить. Чувство не передано, и я задаюсь вопросом, не лучше ли было бы мне исказить перспективу на японский манер и до невозможности утрировать и без того странные очертания вещей. А потом, моему нарисованному жилищу недостает внешней хрупкости и звучности просушенной скрипки. В карандашных штрихах, изображающих деревянную обшивку, не передается ни скрупулезная точность отделки, ни глубочайшая древность, ни совершенная чистота, ни вибрирующий стрекот цикад, словно въевшийся за сотни лет в их иссушенные волокна. Нет в них и того ощущения, что испытываешь здесь от самого пребывания в отдаленном предместье, приютившемся на большой высоте среди деревьев над самым причудливым из всех городов. Нет, все это не рисуется, не передается, остается невыразимым и

неуловимым.

Поскольку мы уже пригласили гостей, чай сегодня вечером все же состоится. И этот прощальный, как оказалось, чай мы обставим со всей возможной торжественностью. Впрочем, мне свойственно каждый раз завершать мое экзотическое житье-бытье праздником; я уже делал это в разных странах.

У нас, как всегда, будут подружки, затем теща, родственницы и, наконец, все окрестные мусме. Но, изощренного японского колорита ради, мы не позволим на этот раз ни одного европейского друга, даже невообразимо высокого. Только Ива — да и его спрячем где-нибудь в уголке, за цветами и произведениями искусства.

...Когда сгущаются сумерки и зажигаются первые звезды, с прелестными поклонами начинают прибывать дамы. И вскоре наш домишко наполняется сидящими на корточках маленькими женщинами с неопределенной улыбкой в раскосых глазах; словно полированное черное дерево, блестят их прекрасные, тщательно убранные волосы; хрупкие тела теряются в складках чересчур широких одежд, которые отстают от согнутых спинок, словно готовы вот-вот соскользнуть вниз, и позволяют видеть изысканные затылки.

Немного печальная Хризантема и моя очаровательнейшая теща Лютик спешат влиться в эти группы, где зажигаются миниатюрные трубочки. Вскоре слышится шепоток сдержанных смешков, ничего не выражающих, но имеющих очень славный экзотический тембр, а потом начинается общее «Тук! Тук! Тук!» — сухой и быстрый стук о тонко лакированный бортик курительной коробки. По кругу ходят засахаренные фрукты с пряностями на разнообразных подносах замысловатых форм. Потом появляются прозрачные фарфоровые чашечки величиной в половинку яичной скорлупы, и дамам предлагают несколько капель чая без сахара в игрушечных чайничках или же чуточку сакэ (рисовой водки, которую принято подавать теплой в элегантных графинах с длинным, как у цапли, горлышком).

Некоторые мусме по очереди импровизируют на самисэне. Другие поют, пронзительно, с постоянными резкими перепадами, словно сбесившиеся цикады.

Госпожа Слива не в силах больше таить так долго сдерживаемые чувства, она окружает меня нежной заботой и просит принять огромное количество изящных сувениров: картинку, вазочку, маленькую богиню Луны из сацумского фарфора, неотразимого болванчика из слоновой кости; и я трепеща следую за ней по всем темным закоулкам, куда она увлекает меня, чтобы вручить свои подарки наедине...

Около девяти, шурша шелками, появляются три самые модные гейши Нагасаки — мадемуазель Чистота, мадемуазель Апельсин и мадемуазель Весна, которых я нанял по четыре пиастра за каждую — цена для этой страны баснословная.

Три гейши — это все те же миниатюрные создания, чье пение я слышал через хрупкие перегородки Цветочного Сада в дождливый день моего приезда. Но, поскольку с тех пор я сильно ояпонился, они значительно упали в моих глазах и кажутся куда менее странными и совсем не таинственными. Я отношусь к ним вроде как к клоунам, работающим на меня, и теперь при мысли жениться на одной из них, как я тогда хотел, могу только пожать плечами — как некогда господин Кенгуру.

От дыхания мусме и горящих ламп становится слишком жарко, и это усиливает аромат лотосов; он наполняет потяжелевший воздух, а еще пахнет маслом камелий, которое в больших количествах применяют дамы, чтобы придать блеск своим волосам.

Мадемуазель Апельсин, та самая маленькая-маленькая, хорошенькая-хорошенькая гейшадитя с нарисованными кисточкой золотыми контурами губ, исполняет восхитительный танец с необычайными париками и масками из дерева или картона. Ее маски старой благородной дамы представляют большую ценность и подписаны известными художниками. Ее роскошные

длинные платья скроены по старинной моде; чтобы придать движениям костюма подобающую витиеватость и неестественность, в шлейфах проложена жесткая прокладка.

Теперь весь дом с одной веранды на другую продувается теплым ветерком, и пламя ламп колеблется. От этих дуновений теряют лепестки лотосы; изнуренные искусственно созданной духотой, они распадаются на куски, и из всех ваз на гостей сыплется их пыльца и широкие розовые лепестки, похожие на осколки опаловых полых шаров...

Ударный номер, прибереженный под конец, — это длинное и монотонное трио на самисэнах, которое гейши исполняют быстрым пиццикато,^[78] отрывисто пощипывая самые высокие струны. Кажется, сама квинтэссенция^[79] — а потом фантазия на тему и, если можно так выразиться, исступление — вечного стрекота насекомых, исходящего от деревьев, травы, старых крыш, старых стен, отовсюду и лежащего в основе всех японских шумов...

...Половина одиннадцатого. Программа выполнена, прием окончен. Последнее общее «Тук! Тук! Тук!», и трубочки возвращаются в свои узорчатые чехольчики, подвязываются к поясам, и мусме суетятся, собираясь уходить.

Зажигается множество красных, серых и синих фонарей на палочках, и после нескончаемых поклонов гости рассеиваются по темным тропинкам в зарослях деревьев.

Мы с Ивом, Хризантемой и Оюки тоже спускаемся в город, чтобы проводить тещу, своячениц и мою молоденькую тетушку, госпожу Кувшинку.

Мы ведь тоже хотим все вместе совершить последнюю прогулку по привычным увеселительным заведениям, попить шербету в чайной Неописуемых бабочек, купить еще один фонарик у госпожи Чистюли и съесть несколько прощальных вафель у госпожи Час.

Я пытаюсь почувствовать себя взволнованным, растрогаться от близости отъезда, но у меня это плохо получается. Этой Японии, как и ее маленьким жителям и жительницам, решительно не хватает чего-то существенного: какое-то время это все забавляет, но к этому не привязываешься.

На обратном пути, когда мы с Ивом и нашими двумя мусме последний раз поднимаемся по дороге в Дью-дзен-дзи, которую я, наверное, уже никогда больше не увижу, некоторая грусть, может, все же просачивается в нашу прощальную прогулку.

Но грусть эта неотделима от всего, чему суждено безвозвратно уйти в прошлое.

Впрочем, великолепное и тихое лето для нас тоже уходит в прошлое — ведь завтра мы поплывем навстречу осени, на север Китая. А я — увы! — уже начинаю считать эти лета молодости, на которые я еще вправе надеяться; я чувствую, что мрачней каждый раз, когда одно из них ускользает от меня, бежит догонять остальные, канувшие в черную, бездонную пропасть, куда свалено все минувшее...

В полночь мы уже дома, и начинается мое переселение, тогда как на борту друг легендарной высоты по доброте своей стоит на вахте вместо меня.

Переселяюсь я ночью, быстро, украдкой, «словно доробо» (воры) — замечает Ив, благодаря тесному общению с мусме поднаторевший в японском языке.

Господа упаковщики по моей просьбе в течение вечера прислали множество восхитительных ящичков с разными отделениями и двойным дном и множество бумажных мешков (из нервущейся японской бумаги), которые закрываются сами собой и перевязываются бумажными же веревками, предусмотрительно приготовленными заранее; упаковки разумнее и удобнее просто не придумаешь: в том, что касается маленьких практичных вещей, этот народ не имеет себе равных.

Паковать вещи одно удовольствие; и все принимаются за работу — Ив, Хризантема, госпожа Слива, ее дочь и господин Сахар. При свете все еще горящих после приема ламп каждый усердно складывает, заворачивает, перевязывает, причем быстро, поскольку время уже

позднее.

Оюки, хоть у нее и тяжело на душе, не может не сопровождать время от времени свой труд приступами детского смеха.

Заплаканная госпожа Слива больше не может сдерживаться; бедная дама, мне в самом деле очень жаль... Хризантема рассеянна и молчалива...

Ну и багаж! Восемнадцать ящичков и пакетов с буддами, химерами, вазами, не считая последних лотосов, связанных в розовый букет, которые я тоже уношу с собой.

Все это нагромождается в повозки дзинов, нанятые еще при заходе солнца и поджидающие у дверей, пока бегуны спят на траве.

Ночь звездная, восхитительная. При свете фонарей мы отправляемся в путь в сопровождении трех удрученных дам, вышедших нас проводить; по самым крутым склонам, небезопасным в такой темноте, мы спускаемся к морю...

Дзины изо всех сил сдерживают свой бег, напрягая мускулистые ноги: если эти нагруженные экипажики отпустить, они прекрасно спустятся сами, быстрее, чем надо, и покатаются в пустоту вместе со всеми моими драгоценнейшими безделушками.

Хризантема идет рядом со мной и мило, нежно объясняет мне, как ей жаль, что баснословно высокий друг не предложил заменить меня на дежурстве до самого утра, ведь тогда бы я смог провести эту последнюю ночь под нашей крышей.

— Послушай, — говорит она, — приходи попрощаться со мной завтра днем перед отплытием; я перееду к матери только вечером; ты еще найдешь меня там, наверху.

Я обещаю ей это.

Дамы останавливаются на одном из поворотов, откуда с птичьего полета открывается вид на всю бухту: черная, спящая вода, отражающая бесчисленные далекие огоньки; и корабли — такие маленькие неподвижные штучки, с той точки, где мы находимся, по форме напоминающие рыб и словно тоже уснувшие, — маленькие штучки, предназначенные для того, чтобы куда-то уплыть, уплыть далеко-далеко и забыть.

Наши три дамы сейчас отправятся в обратный путь, ибо на дворе уже глубокая ночь, а разноязыкие кварталы набережных не заслуживают доверия в столь поздний час.

Настало время Иву — ведь ему уже больше не сойти на берег — нежно распрощаться со своими подружками мусме.

А ведь мне очень любопытно, каким будет расставание Ива с Хризантемой; я прислушиваюсь и присматриваюсь изо всех сил: все проходит как нельзя более просто и спокойно; ничего от того надрыва, что неизбежно возникает между госпожой Сливой и мною; у моей мусме я даже замечаю безразличие и непринужденность, которые сбивают меня с толку; в самом деле, я уже ничего не понимаю.

И я думаю про себя, продолжая спускаться к морю: «Так это подобие грусти было не из-за Ива... Из-за кого же тогда?..» И тут у меня в памяти всплывает ее короткая фраза:

«Приходи завтра перед отплытием попрощаться со мной; я перееду к матери только вечером; ты еще найдешь меня там, наверху...»

В эту ночь Япония поистине изумительна, свежа, прелестна, а Хризантема была такая хорошенькая, когда молча провожала меня вниз по дорожке...

Около двух мы подплываем к «Победоносной» на наемных сампанах, доверху нагруженных моими ящичками. Очень высокий друг сдает мне вахту, которая продлится до четырех часов, а между тем сонные матросы выстраиваются в цепочку в темноте, чтобы поднять на борт весь этот хрупкий багаж...

18 сентября

В мои планы входило подольше поспать сегодня утром, чтобы отоспаться после бессонной ночи.

Но уже в восемь часов в дверях моей каюты, неустанно кланяясь, возникают три субъекта со своеобразными физиономиями под предводительством господина Кенгуру. Одеты они в длинные робы, разукрашенные темными рисунками; волосы у них длинные, лбы высокие, лица бескровные, как у людей, всецело отдающих себя служению искусству, а поверх пучков попигонски набекрень надеты канотье^[80] английского фасона. Под мышкой они держат папки с эскизами; в руках у них коробки с акварелью, карандаши и связанные в пучок тоненькие иглы с поблескивающими острыми кончиками.

С первого же взгляда, несмотря на весь сумбур, сопутствующий пробуждению, мне удается рассмотреть, что за гости ко мне пожаловали, и я догадываюсь, с кем имею дело:

— Заходите, господа татуировщики! — говорю я.

Это самые знаменитые в Нагасаки специалисты; я вызвал их два дня назад, еще не зная, что уезжаю, и, раз уж, они пришли, придется их принять.

Мне не раз случалось навещать примитивным существам в Океании или где-нибудь еще, и в результате я имел неосторожность пристраститься к татуировкам; а потому мне захотелось увезти с собой как какую-нибудь диковину или безделушку образец работы японских татуировщиков, по тонкости штриха не имеющих себе равных.

Я выбираю по их альбомам, разложенным у меня на столе. Там есть очень странные рисунки, предназначенные для разных частей человеческого тела: символические изображения для рук и ног, веточки с розами для плеча и толстые кривляющиеся физиономии для середины спины.

В расчете на вкусы некоторых клиентов — офицеров иностранных флотов — там есть даже военные трофеи, переkreщенные флаги Америки и Франции, «God save» на фоне звезд и женщины Гревена,^[81] сведенные с газетных страниц!

Мой выбор падает на весьма своеобразную голубую с розовым химеру длиной примерно в два дюйма, которая будет славно смотреться у меня на груди с противоположной от сердца стороны.

Полтора часа раздражения и боли. Лежа на кровати и предоставив себя в распоряжение этих типов, я напрягаюсь изо всех сил, чтобы выдержать их бесчисленные неуловимые уколы. Когда случайно появляется капелька крови и красный цвет нарушает стройность рисунка, один из художников кидается останавливать ее губами, — и я не возражаю, зная, что так принято у японцев, что так делают врачи с ранами на теле человека или животного.

На мне неторопливо выполняется тонкая и кропотливая, как резьба по камню, работа; меня спокойно и машинально обрабатывают бледные руки.

Наконец произведение закончено — и татуировщики, с явным удовлетворением отступив назад, чтобы лучше видеть, заявляют, что это будет восхитительно.

Я быстро одеваюсь и иду на берег — воспользоваться последними часами пребывания в Японии.

Сегодня невыносимо жарко; по-сентябрьски огромное солнце немного меланхолично льет свой свет на начинающие желтеть листья, и лучи его кажутся особенно яркими и горячими после осенней свежести утра.

Как и вчера, я поднимаюсь в свое высокое предместье в изнуряющий полуденный зной по пустым тропкам, где нет ничего, кроме света и тишины.

Бесшумно открываю я дверь моего домишки; иду крадучись, как можно осторожнее, опасаясь госпожи Сливы. Под лестницей рядом с деревянными башмачками и сандалиями, всегда валяющимися здесь в прихожей, стоит приготовленный к перевозке багаж, который я узнаю с первого взгляда: знакомые милые темные платья, заботливо сложенные и завернутые в связанные по углам синие салфетки. Кажется, я даже испытываю мимолетное ощущение грусти при виде выглядывающего из одного из свертков уголка шкатулки, предназначенной для писем и сувениров, — теперь там, среди мордашек разных мусме, живет и мой портрет работы Уэно. Поверх всего в пестром розовом чехле лежит инструмент вроде мандолины с длинным грифом, тоже готовый к отъезду. Это похоже на переселение какой-нибудь цыганки — или, вернее, напоминает мне одну гравюру из книги басен, бывшей у меня в детстве: совершенно такой же скарб и длинную гитару тащила на себе попрыгунья-Стрекоза, когда, пропев лето красное, постучалась к соседу Муравью.

Жалкие пожитки!..

Я поднимаюсь на цыпочках — и останавливаюсь, заслышав там, наверху, пение.

Голос Хризантемы, и песня веселая! Это сбивает меня с толку, охлаждает мой пыл, и я уже почти жалею, что пришел.

К пению примешивается необъяснимый для меня звук «дзинь-дзинь!» — очень чистый серебристый звон, словно на пол с силой кидают монетки. Я отлично знаю, что в безмолвные полуденные часы, как и в безмолвные ночные часы, наш гулкий дом усиливает любой звук. Но все же я заинтригован: чем может заниматься моя мусме? «Дзинь! Дзинь!» Она что, камешки бросает или в орлянку играет?..

Ничего подобного! Кажется, я догадался — и поднимаюсь еще тише, на четвереньках, осторожно, как индеец, желая доставить себе последнюю радость — застать ее врасплох.

Она не слышала, как я пришел. Она сидит одна, спиной к двери, в нашей огромной, совершенно пустой, выметенной, белой комнате, куда проникают солнечные лучи, теплый ветерок и желтые листья из сада; одета она по-уличному, готова отправиться к матери, рядом с ней — розовый зонтик.

На полу разложены красивые белые пиастры, которые я дал ей вчера вечером, как было условлено. Со знанием дела и ловкостью старого менялы она щупает их, вертит, бросает на пол и энергично стучит по ним возле самого уха специальным молоточком — и все это напевая какую-то милую песенку задумчивой птицы, сочиняемую, видимо, по ходу дела...

Что ж, последняя картина моего брака оказалась куда более японской, чем я мог вообразить! Мне хочется расхохотаться... Как наивен я был, ведь я почти попался на те несколько слов, весьма уместно произнесенных ею вчера вечером, по дороге, на очень милую фразу, показавшуюся еще прекраснее из-за царившего в два часа ночи безмолвия и всевозможных ночных чар. Так, значит, из-за Ива, как и из-за меня, из-за меня, как и из-за Ива, в этой маленькой головке, в этом маленьком сердечке вообще ничего никогда не происходило.

Вдоволь насмотревшись, я зову ее:

— Эй! Хризантема!

Она оборачивается, краснеет до корней волос, смущенная, что ее застали за этим занятием.

Впрочем, она напрасно волнуется — ведь я, наоборот, в восхищении. Я чуть было не расстроился из-за опасения, что она будет грустить, и я конечно же предпочитаю, чтобы в конце, как и в начале, наш брак обернулся бы шуткой.

— Это ты хорошо придумала, — говорю я, — в твоей стране, где столько неблагонамеренных людей искусно поддельывают монеты, никогда не следовало бы забывать об

этой предосторожности. Поторопись закончить, пока я здесь, и если попадутся фальшивые, я их охотно заменю.

Но нет, она отказывается продолжать при мне. Впрочем, я так и думал; ей не позволяет ее вежливость — врожденная и благоприобретенная, — ее чувство приличия, вся ее японская натура. Презрительным движением ножки — как всегда обтянутой белоснежным носочком со специальным чехольчиком для большого пальчика, — она отодвигает столбики белых пиастров далеко на циновки.

— Мы наняли большой крытый сампан, — говорит она, чтобы сменить тему разговора, — и все вместе: Колокольчик, Нарцисс, Туки — все ваши жены — будем следить за отплытием вашего корабля... Сядь, прошу тебя, посиди немного.

— Посидеть я никак не могу. Мне еще надо много всего купить в городе, понимаешь, а нам дан приказ быть на борту в три часа, будет общий сбор перед отплытием. А потом, знаешь, мне бы хотелось ускользнуть, пока госпожа Слива погружена в послеобеденный сон; а то как бы меня снова не уволокли куда-нибудь в уголок и не устроили душераздирающей сцены...

Хризантема опускает голову, ничего больше не говорит и, видя, что я твердо намерен уйти, встает меня проводить.

Молча, бесшумно мы друг за другом спускаемся по лестнице и идем по залитому солнцем саду, где карликовые кусты и уродливые цветочки кажутся, как и весь дом, погруженными в знойную дрему.

У калитки я останавливаюсь, чтобы сказать последнее прости: личико Хризантемы снова погрузнело, причем явственнее, чем когда-либо; впрочем, это соответствует обстоятельствам, это уместно, и я бы почувствовал себя обиженным, если б было иначе.

Ладно, малышка моя мусме, расстанемся друзьями; можем даже поцеловаться, если хочешь. Я взял тебя, чтобы ты меня развлекала; может, тебе это и не очень удалось, но ты дала что могла — свою маленькую особу, свои поклоны, свою музыку; в общем-то, ты была весьма славной в своем японском стиле. И как знать, может, иной раз я подумаю заодно и о тебе, когда стану вспоминать это великолепное лето, эти прелестные сады и музыку бесчисленных цикад...

Она падает ниц на пороге, лбом касаясь земли, и остается в этой позе глубочайшего почтения до тех пор, пока я не скрываюсь из виду в глубине тропинки, по которой уйду навсегда.

Удаляясь, я все-таки оборачиваюсь раз или два, чтобы взглянуть на нее, — но это только из вежливости, да и потом, надо подобающим образом ответить на ее красивый прощальный поклон...

Едва войдя в город, на повороте главной улицы я имею счастье повстречать 415-й номер, моего бедного родственника. Мне как раз нужен быстрый дзин, и я сажусь в его экипаж; да и вообще мне будет легче в час отъезда, если я сделаю последние покупки в обществе члена семьи.

Не имея привычки перемещаться в часы послеполуденного отдыха, я никогда еще не видел улицы этого города настолько изнуренными солнцем, настолько пустынными, погруженными в уныние блеска и тишины, напоминающее жаркие страны. Перед окном каждой лавочки — белый навес, слегка украшенный местами черными рисунками, в самой странности которых есть что-то таинственное: драконы, эмблемы, символические фигуры. Все освещено слишком ярко; свет с неба резок, неумолим, и еще никогда Нагасаки не казался мне таким старым, источенным червями, обветшалым, несмотря на новенькую бумажную отделку и намалеванные картинки. Эти деревянные домишки, белоснежно чистые изнутри, снаружи все какие-то черные, изъеденные, покосившиеся, кривляющиеся. Больше того, если хорошенько присмотреться, кривляние это повсюду: в омерзительных масках, смеющихся в витринах бесчисленных антикварных лавок; в болванчиках, в игрушках, в идолах; кривляние жестокое, косящее, неистовое; его можно обнаружить даже в постройках, во фризах храмовых портиков, в крышах тысячи пагод, углы и щипцы которых корчатся, словно все еще опасные останки древних кровожадных зверей.

И эта волнующая напряженность, свойственная лику вещей, резко противоречит почти полному отсутствию выражения на настоящих человеческих физиономиях, глуповатой улыбочивости встречающихся на улице добрых человечков, терпеливо предающихся кропотливым ремеслам в тени своих открытых домиков. Согбенные работяги, крохотными инструментами обрабатывающие занятые или гнусно непристойные поделки из слоновой кости, те самые удивительные сокровища для этажерок, за которые иные европейские коллекционеры так высоко ценят никогда не виденную Японию. Прирожденные художники, заносащие руку над лаковой или фарфоровой поверхностью и выводящие на ней рисунки, выученные наизусть или же тысячелетиями передающиеся по наследству и отпечатавшиеся у них в мозгу; художники-автоматы, выводящие аистов, вроде тех, что рисует господин Сахар, или неизбежные маленькие скалы, или вечные маленькие зонтики... Бездарнейший из этих миниатюристов, с невзрачным безглазым лицом, несет на кончиках пальцев последнее слово декоративного жанра, тонкого, остроумно несуразного, который сейчас, на закате эпохи подражания, грозит завладеть умами у нас во Франции и к которому уже широко прибегают всякие производители дешевых произведений искусства.

Из-за того ли, что мне предстоит покинуть эту страну, что у меня не осталось здесь ни привязанностей, ни пристанища и дух мой уже немного не здесь, — не знаю, но мне кажется, я никогда еще не видел Японию так отчетливо, как сегодня. И больше чем обычно я нахожу ее маленькой, старообразной, обескровленной и обессиленной; я осознаю ее допотопную древность; ее многовековую замумифицированность, которая скоро при соприкосновении с западными новшествами обернется гротеском, жалкой буффонадой.^[82]

Проходит час; понемногу близится к концу время послеполуденного отдыха; странные улочки оживают, заполняются под лучами солнца пестрыми зонтиками. Начинается парад уродств, уродств невозможных; парад длинных, как на болванчиках, платьев, над которыми возвышаются котелки и канотье. Возобновляются сделки, равно как и борьба за существование,

такая же ожесточенная, как и в наших рабочих пригородах, — и еще более мелочная.

В час отъезда я не нахожу в себе ничего, кроме насмешливой улыбки, глядя на этот вечно кланяющийся народец, трудолюбивый, изобретательный, жадный до наживы, отмеченный врожденным жеманством, наследственной фальшью и неизбывным кривлянием...

Бедный кузен 415, я не зря проникся к нему уважением: из всей моей японской семьи он самый лучший и самый бескорыстный. Когда беготня по магазинам заканчивается, он ставит под дерево свой маленький экипаж и, растроганный моим отъездом, хочет проводить меня до самой «Победоносной», чтобы в увозящем меня сампане приглядеть за последними покупками, а потом собственноручно отнести все это ко мне в каюту.

Он единственный, кому я от чистого сердца, без всякой задней улыбки, жму руку, покидая Страну восходящего солнца.

Наверное, в этой стране, как и во многих других, больше преданности и меньше уродства можно встретить у людей простых, занятых физическим трудом.

Отплытие в пять часов вечера.

Вдоль борта корабля стоят два или три сампана; там в тесных каютах заперты мусме, и их лица, прикрытые веерами от любопытных матросов, смотрят на нас сквозь малюсенькие окошки: это наши жены, из вежливости пожелавшие еще раз взглянуть на нас.

Есть и другие сампаны с незнакомыми японками, захотевшими присутствовать при нашем отплытии. Только эти провожают нас стоя — под зонтиками, украшенными черными иероглифами и размалеванными облачками ярких цветов.

Мы медленно выходим из большой зеленой бухты. Группы женщин теряются из виду. Страна круглых зонтиков с тысячью складок понемногу закрывается за нашей спиной.

И открывается море, бескрайнее, бесцветное и пустое, действующее умиротворяюще после чересчур замысловатых и чересчур мелких вещей.

Удаляются лесистые горы, дивные мысы. И вся Япония сводится к живописным скалам, к необычным островкам, где деревья собираются в рощицы, — может, немного нарочито, но, бесспорно, очень мило...

Как-то вечером, сидя у себя в каюте где-то посреди Желтого моря, я случайно взглянул на лотосы, привезенные из Дью-дзен-дзи; они продержались два или три дня; а сейчас, бедные, уже отцвели и роняют на мой ковер свои розовые лепестки.

И я, сохранивший столько увядших, превратившихся в пыль цветов, подобранных в час отъезда в самых разных концах света; я, сохранивший их столько, что получился целый гербарий, смешная бестолковая коллекция, — я ни капельки не дорожу этими лотосами, хотя это последнее живое напоминание о лете, проведенном в Нагасаки.

Я беру их в руки — с некоторым все же почтением — и открываю иллюминатор.

Затянутое тучами небо придает волнам свинцовый отлив; какие-то тусклые, унылые, желтоватые сумерки спускаются над Желтым морем. Чувствуется, что мы продвинулись к северу и что приближается осень...

И я бросаю несчастные лотосы в бескрайний простор, принося им мои извинения за то, что пришлось похоронить их, японцев, в такой печальной и такой огромной могиле...

О Амагэрасу-о-миками, омой меня добела в водах реки Камо от этого маленького супружества...

Конец

[\[49\]](#) [\[50\]](#) [\[51\]](#)

[\[52\]](#) [\[53\]](#) [\[54\]](#) [\[55\]](#) [\[56\]](#) [\[57\]](#) [\[58\]](#) [\[59\]](#)

[\[60\]](#)

[\[61\]](#)[\[62\]](#) [\[63\]](#) [\[64\]](#)

[\[65\]](#)

[\[66\]](#)

[\[67\]](#) [\[68\]](#) [\[69\]](#) [\[70\]](#) [\[71\]](#) [\[72\]](#)

[\[73\]](#)

[\[74\]](#) [\[75\]](#) [\[76\]](#) [\[77\]](#)

[\[78\]](#) [\[79\]](#) [\[80\]](#) [\[81\]](#) [\[82\]](#)

Нефрит — минерал из группы амфиболов, или ленточных силикатов; цвет камня колеблется от серого до темно-зеленого, но возможна и другая окраска: в частности, в Китае очень ценился белый нефрит; используется как декоративный камень.

Пескадоры (Пескадорские острова, современное название — Пэнху) — архипелаг в Тайваньском проливе, состоящий из 64 скалистых островков общей площадью 127 кв. км. Северный тропик пересекает архипелаг в его южной части.

Архипелаг носит название Гото; Фукуэ — крайний юго-восточный остров архипелага.

Бриз — так моряки называют устойчивый по направлению ветер слабой или умеренной силы (от 2 до 10 метров в секунду).

Джонка — китайское парусное судно с тупым носом и очень широкой, высоко поднятой кормой.

Рей — горизонтальное рангоутное дерево, подвешенное за середину к мачте или к ее продолжению — стене и служащее для привязывания к нему прямых парусов.

Кре́цендо (ит. «возрастая») — в музыке: постепенное усиление громкости звучания.

Пагода — тип дальневосточного храма, башнеобразное многоярусное сооружение.

Бижутерия — женские украшения, изготовленные не из драгоценных металлов и камней.

Шторм-трап — веревочная складная лестница с деревянными перекладинами, спускаемая за борт судна для высадки и приема людей при сильном волнении, а также в ряде других случаев.

Фрегат — трехмачтовый парусный военный корабль с сильной артиллерией (до 60 пушек) и достаточно большой скоростью, предназначавшийся для крейсерской и разведывательной служб.

Концессия — здесь: полученный во временное владение участок земли с правом полного распоряжения им.

Сампан — вид джонки.

Уистити — два вида мелких обезьянок из семейства игрунковых; обитают в Америке.

Дзин — счетный суффикс для обозначения лица какой-нибудь национальности, реже — профессии. Точное японское название: дзин-рикйся (с беглым последним «и»).

Химеры — в мифологии: огнедышащие чудовища фантастического облика, который слагался из элементов тел различных животных; часто использовались в декоративной живописи и в архитектуре.

Крепон — ткань с ворсом, как у крепа, но с более плотным тканьем (в XIX в. употреблялась для монашеских сутан, мантий адвокатов и проч.).

Пяденицы — семейство бабочек (Geometridae) небольших размеров (5 — 60 мм), распространенных во всем мире и активных по большей части ночами.

Иена соответствует пяти франкам. (Примеч. авт.)

Гейши — профессиональные певицы и танцовщицы, закончившие консерваторию Эдо.
(Примеч. авт.)

Оби — пояс (яп.).

Самураи — военное сословие мелких дворян в феодальной Японии.

Японское слово «нэдзуми» (как, впрочем, и приводимое ниже турецкое «сычан») означает не только «мышь», но и «крыса»; впоследствии читатель убедится, что второе значение верное.

Вавилон — древний город в Двуречье, один из центров месопотамской цивилизации, столица Вавилонского, а потом Ново-Вавилонского царств.

Ниневия — древний город в Двуречье, столица Ассирийского царства.

Мусме (фонетически правильно: «мусімэ» — с беглым вторым «у») — дочь, девушка.

Вагто Жан-Антуан (1684–1721) — французский художник, писавший жанровые произведения — театральные и так называемые «галантные» сцены.

«Марсельеза» — французский государственный гимн.

«God save...» («Боже, храни...») — первые слова британского государственного гимна; первая строка оканчивается (в зависимости от пола правящего монарха) упоминанием короля или королевы (например, в настоящее время, когда правит Елизавета II, — «Боже, храни королеву»).

Гетера (от др. греч. «этера» — подруга, любовница) — женщина легкого поведения; в древней Греции, однако, слово это имело несколько иной смысл: образованная, незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни.

Дайкоку — божество поля и трапезы, которое во многих местностях острова Кюсю превратилось в бога богатства, поскольку для крестьянина богатство ассоциировалось прежде всего с хорошим урожаем риса.

По-японски: Сато-сан и Умэ-сан. (Примеч. авт.)

Синтоизм (ли. «синто» — «путь богов») — национальная религия, сложившаяся в Японии; возникла из древнего культа одухотворения природы и обожествления умерших предков. Согласно синтоистским представлениям, человек произошел от одного из бесчисленных духов, влиятельных богов (ками), среди которых особое место занимает богиня солнца Аматэрасу. Душа умершего человека при определенных обстоятельствах способна стать ками. В свою очередь, ками обладают способностью воплотиться в ритуальные предметы, а таковые (синтай) превращаются в объект поклонения.

Скарабей — навозный жук.

Консьержка — привратница (во Франции).

Ваал — искаженная передача имени библейского божества Баал (на самом деле — Балу, буквально: «хозяин», «владыка»); одно из самых употребительных в западносемитской мифологии прозвищ богов отдельных местностей и общих богов. Наибольшим распространением пользовался культ Балу как бога бури, грома, молний, дождя и связанного с дождем плодородия.

Инфантильный — по-детски недоразвитый.

Портик — крытая галерея с колоннадой или арками, прилегающая к зданию.

Гаргантюа — жизнерадостный великан, герой романа Франсуа Рабле (ок. 1494–1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Бонза — европейское название служителей буддийского культа в Японии.

Паланкин — носилки в восточных странах, устроенные в виде кресла или ложа, укрепленного на двух длинных шестах, концы которых лежат на плечах носильщиков.

Формоза — европейское (португальское) название острова Тайвань.

Основное значение глагола «ному» — пить, глотать; таким образом, выражение «табако-ному» буквально означает «глотнуть табака».

Эолова арфа — древний музыкальный инструмент: узкий деревянный ящик, внутри которого натягивают 8–13 жильных струн, приводимых в колебание дуновением ветра.

Сомнамбула — лунатик (лунатичка), то есть лицо, впадающее в своеобразное расстройство сознания, которое характеризуется выполнением во время сна бессознательных, внешне упорядоченных действий.

Мандрагора — южное травянистое растение семейства пасленовых с корневищем, напоминающим человеческую фигуру (поэтому корню приписывались всевозможные магические значения и чудотворная сила); корень мандрагоры используется иногда как болеутоляющее средство.

Аматэрасу-о-миками («великая священная богиня, сияющая на небе») — в японской мифологии богиня солнца и прародительница японских императоров, глава пантеона синтоистских богов. В тексте ошибочно названа божеством мужского пола. (Примеч. перев.)

Мана — в верованиях народов Меланезии и Полинезии так называется сверхъестественная сила, носителями которой могут быть отдельные люди, животные, различные предметы, а также духи.

По-японски: О Сэй-сан.

По-японски: Токи-сан.

Плебейский — простонародный (от плебеи — здесь: широкие слои городской бедноты).

Тик — хлопчатобумажная или льняная плотная ткань с широкими продольными полосами.

Морганатический брак — официально не признаваемый неравнородный брак, при котором жена не пользуется сословными привилегиями мужа (и наоборот), а дети — привилегиями отца.

Стеньга — вертикальное продолжение мачты; рангоутное дерево, наращиваемое на мачту.

Видимо, автор имеет в виду укрепленные поселения кельтов, «оппидумы», огромные стены которых строились из каменных блоков, скрепленных дубовыми балками; такой строительный элемент получил в истории архитектуры специальное название — «галльская стена»; впоследствии ее заимствовали и другие народы Южной Европы.

Криптомерия — южное вечнозеленое хвойное дерево, достигающее очень больших размеров.

Японская саламандра. — Речь идет о японском скрыто-жабернике, животном из семейства рыбообразных саламандр.

Дворец Эдо — замок Эдо; был построен в 1457 г. на месте рыбацкой деревушки в устье реки Сумида, положив начало городу, который с 1603 г. стал резиденцией феодального правителя — сёгуна; в 1624–1644 гг. древний замок был расширен и перестроен; в 1869 г. Эдо стал столицей Японии и был переименован в Токио («Восточная столица»). Замок Эдо с этого времени стал императорским дворцом.

По-японски Оюки-сан (как и дочь госпожи Сливы).

По-японски Цуки-сан.

Шербет — восточный фруктовый прохладительный напиток.

Муско — маленький мальчик. Это мужской род от мусме. Обычно говорят даже муско-сан (господин муско) от избытка вежливости.

Саговники — класс голосеменных растений; деревья с клубневидными или редьковидными стволами, скрытыми в почве, реже — с высокими наземными колоннообразными (высотой до 20 м) стволами; на вершинах стволы несут крону из пучка крупных, длиной до 3 м, папоротниковидных жестких листьев.

Бенедиктин — ликер, рецепт которого был составлен монахами-бенедиктинцами.

Шартрëз — ликер, изготовляемый по рецепту монахов монастыря Святого Бруно в Шартрëзе (Франция, историческая провинция Дофине).

Амида — одно из главных божеств в японской буддийской мифологии, будда, повелевающий в обетованной «чистой земле», куда попадают праведники.

Бэнтен — богиня искусств, словесности, музыки и красноречия. (Примеч. перев.)

Каннон (или Кандзэон-босацу) — одно из наиболее популярных божеств японской буддийской мифологии: милосердная заступница, обратиться за помощью к которой может каждый человек; богиня способна принимать различные воплощения.

Дэдэ-сан — по-французски «мадемуазель Девушка»; это очень распространенное имя.

Слово «хотокэ» имеет в японском языке два значения: 1) будда, 2) покойник.

Понтуаз — город во Франции, на реке Уазе, недалеко от впадения последней в Сену (к северо-западу от Парижа).

Людовик XV (1710–1774) — король Франции с 1715 г.

Архитрав — главная балка, лежащая на капителях колонн или на стенах.

Автор имеет в виду залив Желтого моря Бохайвань; ближайшие к Пекину порты в этом заливе — Дагу и Тяньцзинь.

Самисэн — японский трехструнный музыкальный инструмент.

Тремоло (муз.) — быстрое повторение одного и того же звука, возможное на некоторых музыкальных инструментах.

Чифу — старое название китайского города Яньтай на северном побережье Шаньдунского полуострова.

Пиццикато — способ игры на смычковых инструментах, когда струну задевают пальцем, отчего получается звук отрывистый и более тихий, чем при игре смычком.

Квинтэссенция — основа, самая сущность чего-либо.

Канотье — шляпа из твердой соломки с плоскими полями, бывшая в моде в начале XX в., хотя появилась несколько раньше.

Гревен Альфред (1827–1892) — французский график и карикатурист (сотрудничал в журналах: «Journal amusant», «Petit Journal pour rire», «l'Almanach des Parisiennes»). В 1882 г. на Монмартре организовал музей восковых фигур.

Буффонада — неуместное, нелепое, грубое шутовство.